БИБЛИОТЕКА СОВРЕМЕННОГО ЗНАНИЯ
39

М. А. АЛДАНОВ

ЗАГАДКА ТОЛСТОГО

1 9 2 3

ИЗДАТЕЛЬСТВО И. П. ЛАДЫЖНИКОВА БЕРЛИН

Типография Шпамера в Лейпциге

ОТ АВТОРА

В 1914 году мною была закончена книга «Толстой и Роллан», первый том которой вышел в свет в самом начале войны. На его долю выпал у критики незаслуженный и неожиданный успех. Второй том, почти готовый в рукописи, не был сдан в печать. Я в ту пору не имел возможности заниматься литературными делами, да и цензурные условия военного времени крайне затрудняли появление в неурезанном виде книги, посвященной мысли Ромэна Роллана. В 1918 году я уехал за границу. Библиотека моя, разумеется, осталась в России и там погибла; погибли с нею и мои рукописи. Таким образом я и теперь не могу напечатать свою работу в том виде, в каком она была задумана в 1912—14 годах.

Из первого тома книги, по самому ее плану, сравнительно нетрудно было выделить часть, посвященную Л. Н. Толстому. Она и перепечатывается в настоящем издании без существенных изменений. Если б я теперь стал наново писать книгу об авторе «Войны и мира», я написал бы ее иначе. Но общую концепцию «загадки Толстого», данную в моем труде, я продолжаю считать правильной, несмотря на ряд сделанных в печати возражений. Не появилось за истекшие 10 лет и новых, относящихся к Толстому, материалов, которые шли бы с ней вразрез.

Я предполагаю скоро выпустить в свет также монографию о Р. Роллане; некоторые главы ее будут мною восстановлены по памяти, другие — бо̀льшая часть — написаны заново. Последнее было бы неизбежно даже

в том случае, если б в моем распоряжении имелась старая рукопись: Ромэн Роллан с 1914 г. написал шесть новых книг, и некоторые из них занимают в его творчестве совершенно исключительное место.

Мне приходится таким образом отказаться от первоначального замысла, по которому мысль Л. Н. Толстого и Ромэна Роллана рассматривалась формально в параллели. Но параллель эта и по первоначальному замыслу не имела узко-специального характера: в работе моей были две монографии, об'единявшиеся третьей, заключительной частью. Да и теперь в книге о Р. Роллане, по самому существу творчества французского писателя, мне не раз придется возвращаться к загадке Толстого.

Я выпустил из настоящего издания несколько страниц, из которых одна относилась к В. В. Розанову, недавно скончавшемуся в России, другие — к И. Ф. Наживину, давно переставшему быть «толстовцем». Требовала бы теперь выпуска, по архаичности темы, и значительная часть X-ой главы книги. Но, повторяю, я не имел в виду выпускать «переработанное издание».

ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА

Выбор орфографии для настоящей книги был произведен Издательством без согласия автора и определился включением «Загадки Толстого» в серию «Библиотеки современного знания».

Tu voyais sous tes pas un gouffre se creuser
Qu'élargissaient sans fin le doute et l'ironie;
Et, penché sur cette ombre, en ta longue insomnie,
Tu sentais un frisson mortel te traverser.

A l'abîme vorace, alors, sans balancer,
Tu jetas ton grand coeur brisé, ta chair punie,
Ta rebelle raison, ta gloire et ton génie,
Et la douceur de vivre et l'orgueil de penser.

Ayant de tes débris comblé le précipice,
Ivre de ton sublime et sanglant sacrifice,
Tu plantas une croix sur ce vaste tombeau.
Mais sous l'entassement des ruines vivantes
L'abîme se rouvrait, et, prise d'épouvantes,
La croix du Rédempteur tremblait comme un roseau.

Jules Lemaître. Pascal.

I

Часто цитируют слова Канта: «две вещи наполняют мой дух вечно новым и все большим благоговением: звездное небо надо мной, нравственный закон во мне». Эта знаменитая формула, выражающая идею совершенного, гармонического человека, может быть разделена как в теории, так и в жизни: откиньте ее второй член, оставьте одно «звездное небо», она приблизится к учению язычника Гете:

Freudig war vor vielen Jahren
Eifrig so der Geist bestrebt,
Zu erforschen, zu erfahren,
Wie Natur im Schaffen lebt.

Und es ist das ewig Eine,
Das sich vielfach offenbart;
Klein das Große, groß das Kleine,
Alles nach der eignen Art.

Immer wechselnd, fest sich haltend,
Nah und fern und fern und nah,
So gestaltend, umgestaltend —
Zum Erstaunen bin ich da.[1])

---

[1]) Впрочем, Гете порою высказывался и в другом духе. В разговоре с Эккерманом 11 марта 1832 г. он почти буквально повторяет формулу Канта (I. P. Eckermann, Gespräche mit Goethe, T. III, S. 692).

Напротив, для Толстого-мыслителя существует только «нравственный закон». То «das ewig Eine», которому всю жизнь «удивлялся» Гете, «звездное небо» Канта — в толстовстве не находят места. Ученые выдумали, правда, «туманные пятна», «спектральный анализ звезд», «химический состав млечного пути», но все это — никому ни для чего ненужный профессорский вздор. Боги звездного неба, Кеплеры, Ньютоны, Леверрье, для Толстого в лучшем случае — маниаки, напоминающие Пфуля, Вейротера и других немецких стратегов «Войны и Мира», — только более безобидные, благодаря своей штатской профессии. Как Пфуль и Вейротер, они не лишены, быть может, специальной, ограниченной гениальности. Немецкие стратеги всю жизнь проводят за составлением диспозиций: «die erste Kolonne marschiert... die zweite Kolonne marschiert». Кеплеры весь своей век думают о том, как «der erste Planet marschiert... der zweite Planet marschiert». Пфуля и Вейротера считают гениями другие немцы-стратеги; точно также Кеплерам поклоняются другие безобидные маниаки, а за ними публика, находящаяся во власти научного суеверия. В худшем же случае, который, конечно, встречается гораздо чаще, небесные Пфули лишены даже ограниченной гениальности. Тогда это просто дюжинные профессора, Шмидты и Майеры, выдумавшие себе занятие, «чтобы получать больше жалованья», нестерпимо самоуверенные и чрезвычайно глупые [1]). Когда в «Плодах Просвещенья» профессор Алексей Владимирович Кругосветлов тягучим, мерным голосом говорит о «пертурбациях невесомого эфира», об «энергии динамической, термической, электрической и химической» и об ее «соллицитированных проявлениях», нам совершенно ясно, что Толстому он представляется гораздо глупее, чем Вово Звездинцев и Коко Клинген, члены общества поощрения разведения старых русских густопсовых собак. Профессорский жаргон «научной науки», как презритель-

[1]) В Ясной Поляне одно время держалась поговорка: «глуп, как профессор». (Ив. Наживин. Из жизни Л. Н. Толстого. Москва, 1911, стр. 34).

по выражался Толстой, стоит приблизительно на том же уровне, что косноязычный вздор полуидиотического дипломата, князя Ипполита Курагина. В этом своем совершенном презрении к представителям «научной науки» Лев Николаевич идет вслед за Шопенгауером, но гораздо дальше последнего. Немецкий философ тоже сердито удивлялся, когда слышал о необычайной гениальности Ньютона, тоже терпеть не мог профессоров и, как Толстой, не стесняясь в выражениях, говорил, что ученые вне своей специальности (а иногда и в ее пределах) сплошь и рядом оказываются настоящими ослами.

Толстой сражается с наукой, как опытный искусный полемист: он старательно выискивает слабые места своего противника и на них сосредоточивает нападение. С особенной охотой он избирает мишенью для своих нападок медицину. Как радостно отмечает он, что знаменитые доктора не лечат, а обманывают Наташу Ростову, Кити Щербацкую. Толстовские врачи не уступают в невежественном апломбе спиритам-профессорам и немецким стратегам, но сверх того Толстой награждает их еще порядочной долей полусознательного цинизма: «к обеду приехал доктор и, разумеется, сказал, что, хотя повторные явления и могут вызывать опасения, но, собственно говоря, положительного указания нет, но так как нет и противупоказания, то можно, с одной стороны, полагать, с другой же стороны, тоже можно полагать. И потому надо лежать, и хотя я и не люблю прописывать, но все-таки это принимайте, и лежать... Получив гонорар, как и обыкновенно, в самую заднюю часть ладони, доктор уехал» («Дьявол»). Нечего сказать: и невѣжда, и шарлатан, и дармоед. Кругосветловы за свои откровения хоть гонорара не берут (по крайней мере, при читателе). Для посрамления медицины Толстой выдумывал даже особые болезни, которых врачи не только не могут прекратить, но не могут и распознать: нам так-таки остается неизвестным, от чего умер Иван Ильич, — от блуждающей ли почки, от хронического ли катарра или от болезни слепой кишки. Великий писатель не мог, однако, не

знать, что существуют недуги, более послушные воле и знанию человека; к тому же в семье точных наук практическая медицина является чем-то вроде Австрии по определению Тютчева: это Ахиллес, у которого всюду пятка.

Но и в других областях знания Толстой мастерски выбирает для атаки наиболее уязвимые места. В политической экономии он подвергает расстрелу теорию Мальтуса, в социологии — ограническую теорию общества. Его аргументация местами сильна, почти всегда остроумна. Правда, она в значительной своей части не нова. Так, например, в критике социологических построений Герберта Спенсера Толстой на каждом шагу повторяет известные аргументы Михайловского. Великий писатель доводил свое отвращение к научному педантизму до того, что нисколько не считал себя обязанным изучать детально литературу вопросов, о которых писал: для него эти аргументы были новы; он приходил к ним самостоятельно. Впрочем, ему случалось выдвигать против тех или других научных положений и оригинальные доводы, в которых резкая, парадоксальная, несправедливая форма порою прикрывает долю несомненной истины. «Теория эволюции», замечает, например, Толстой, «говоря простым языком, утверждает только то, что по случайности в безконечно долгое время из чего хотите может выйти все, что хотите. Ответа па вопрос нет. А тот же вопрос поставлен иначе: вместо воли поставлена случайность, а коэффициент безконечного переставлен от могущества ко времени» (XVII, 140) [1]. Или еще: «Люди современной науки очень любят с торжественностью и уверенностью говорить: мы исследуем только факты, воображая, что эти слова имеют какой нибудь смысл. Исследовать только факты никак нельзя, потому что фактов, подлежащих нашему наблюдению, бесчисленное (в точном значении этого слова) количество. Прежде чем исследовать факты, надо иметь теорию,

[1]) Все цитаты из произведений Л. Н. Толстого приводятся мною по 24-томному Сытинскому изданию под редакцией П. И. Бирюкова.

на основании которой исследуются факты» (XVII, 136). Современный научный критицизм, обосновывая философски понятия рабочей гипотезы и об'яснения, высказал мысли, довольно близкие к этим. Пределы настоящей работы не дают возможности сопоставить некоторые научные предвидения автора «Войны и Мира» с подлинными мыслями знаменитых ученых нашего времени. В этих предвидениях, как почти в каждой странице наследия Толстого, ясно виден его несравненный ум, с одинаковой легкостью вникающий в сложные вопросы науки, в дебри отвлеченной метафизики, в глубины сердца человека, в мельчайшие подробности социальных отношений.

Но все же Толстой говорит о науке не как философ, а как полемист, притом как полемист, исполненный крайнего раздражения. Резкость его отзывов часто переходит всякие границы: для него «дарвинизм — образец глупости», «чем ученее человек, тем он глупее», «представление мужика о том, что Бог сотворил мир в 6 дней, гораздо правильнее, научнее, чем учение об эволюции», «слава Богу, что наука в Индии не развивается», люди, занимающиеся наукой, «умственно вывихивают себе мозги, становятся скопцами мысли, по мере оглупения приобретают самоуверенность» . . . и т. д. В пылу полемического увлечения Толстой иногда говорит явно несообразные вещи, вроде следующей: «в чем разница дедуктивного от индуктивного, никто никогда понять не мог» (XVII, 164), или же сообщает о науке сведения, просто фактически неверные: «Выдумали», говорит он, например, «торпеды, приборы для акциза, для нужников, а прялка, ткацкий бабий станок, соха, топорище, цеп, грабли, журавель, ушат все такие же, как были при Рюрике» (XVII, 156).

В ответ на весь этот полемический задор, на мастерскую, блестящую кампанию Толстого, наука великолепно молчала. Толстым везде увлекаются, как художником; еще больше интересуются его религиозными воззрениями, о которых пишут университетские диссертации (Maffre. Le Tolstoïsme et le Christianisme); знаменитые историки (Альбер Сорель, Н. И. Кареев) посвящают специ-

альные исследования историческим воззрениям Толстого; заслуженные генералы (Драгомиров) старательно изучают его философию войны[1]). Но кампания великого писателя против науки со стороны представителей последней не удостаивается никакого ответа. Впрочем, Петцольдт вскользь замечает, что у Толстого, как у других религиозных реформаторов, нет научного органа: «kein Organ für die Wissenschaft». Отрицанию великого писателя представитель науки ставит бесцеремонный диагноз: «eine gewisse Verkümmerung des logischen Bestandes». Лев Николаевич считал ученость и глупость синонимами; в благодарность за этот комплимент Петцольдты зачисляют Толстого в число калек. Разумеется, «органы» у Толстого были все в целости, дай Бог каждому! — и «научный орган» отнюдь не составлял исключения.

* * *

В 1847 г. 19-летний Л. Н. Толстой занес в свой дневник следующий небольшой проект, который трудно прочесть без улыбки:

«Цель жизни в деревне в продолжение двух лет:

1) Изучить весь курс юридических наук, нужных для окончательного экзамена в университет. 2) Изучить практическую медицину и часть теоретической. 3) Изучить языки: французский, русский, немецкий, английский, итальянский и латинский. 4) Изучить сельское хозяйство, как теоретически, так и практически. 5) Изучить историю, географию и статистику. 6) Изучить математику — гимназический курс. 7) Написать диссертацию. 8) Достиг-

---

[1]) Воззрения Толстого на войну и ее науку незаметно проникли в те углы европейской мысли, где они, казалось бы, всего менее могли рассчитывать на сочувствие. Нередко они преподносятся европейскому читателю, как нечто новое и самостоятельное; см., напр., у Леметра («Les Contemporains», 3-me série) заметку об истории Конде, написанной герцогом Омальским.

нуть высшей степени совершенства в музыке и живописи. 9) Написать правила и 10) Получить некоторые познания в естественных науках. 11) Составить сочинения из всех предметов, которые буду изучать»[1]).

В 1910 г. 82-летний Л. Н. Толстой переезжал как-то из Кочетов в Ясную Поляну. В. Г. Чертков описывает следующую сцену из этого переезда:

«В отделении я остался один со Львом Николаевичем; Душан и Булгаков уселись в соседнем отделении. Я прилег отдохнуть, но мне не спалось. Л. Н., полулежа на противоположном сидении, стал читать книгу. Встав, чтобы откинуть упавший на него шнур с опущенного верхнего дивана, он загляделся в открытое окно на красный закат. Долго выделялась на фоне окна его несколько согнувшаяся вперед, сутуловатая фигура. Он видимо любовался зрелищем. Немного погодя, он, не двигаясь с места, посмотрел на свои часы и затем стал поминутно их вынимать. Очевидно, он хотел проследить, сколько времени потребуется для того, чтобы диск солнца скрылся за горизонтом. Когда перед окном поднимался густой лес или насыпь, он нетерпеливо высовывал из окна голову, чтобы узнать, долго ли протянется это препятствие, мешавшее его наблюдению»[2]).

Эта сценка весьма характерна для Толстого, как ни маловажен излагаемый эпизод. Глубокий старец, одной ногой стоящий в могиле, должен зачем-то знать, сколько времени потребуется диску солнца, чтобы скрыться за горизонтом. Люди гораздо моложе его прилегли отдохнуть, а он стоит с часами в руке и что-то нетерпеливо изучает. Это вот жадное любопытство к явлениям внешнего мира создает Пастеров и Лавуазье, когда оно не создает Толстых и Гете.

«Я почти невежда», пишет в дневнике Толстой в 1854 г., «что я знаю, тому я выучился кое-как, сам, урывками, без

---

[1]) П. Бирюков. Л. Н. Толстой, т. I, стр. 145.
[2]) В. Чертков. Свидание с Л. Н. Толстым в Кочетах. «Речь» 1913 г.

связи, без толку и то так мало». Полвека спустя, он, вероятно, готов был бы повторить то же самое, но не с огорчением, а с истинной радостью: ведь по Толстому неученье — тьма, но и ученье — тоже тьма; единственный из современных людей, он был склонен гордиться «невежеством», хотя меньше, чем кто либо другой, имел на это право: Толстой был несомненно одним из наиболее разносторонне ученых людей нашего времени. Он знал «немного обо всем», что, если верить Паскалю, гораздо лучше, чем знать «все о немногом»[1]). Впрочем, в своем главном «ремесле», в литературе, он знал «все», — древнее, новое, новейшее; здесь он был специалистом глубокого, почти исчерпывающего знания. Толстой владел множеством культурных языков, вплоть до греческого и еврейского. Он в разное время жизни интересовался, со всей своей способностью страстного увлечения, то философией, то естествознанием, то богословием, то теорией искусства, то педагогическими науками. В 1870 г. Толстой, по собственным словам, «с утра до ночи» занят изучением греческих классиков в подлинниках[2]), в 1884 г. он, как мы случайно узнаем, интересуется астрономией[3]), в 1910 г. почти пристает ко всем своим посетителям с каким-то неизвестным доказательством Пиѳагоровой теоремы[4]). Что ему Гекуба? Для чего нужна Пиѳагорова теорема тому, кто так жестоко издевается над наукой? Эти внезапные периодические увлечения сказывались в Толстом в течение всей его жизни, и люди, видевшие два десятка книжных

---

[1]) Необыкновенная разносторонность умственных интересов Толстого весьма ясно сказалась в его переписке с Н. Н. Страховым. 19-й век несколько отучил нас от такого стиля писем, и книга, превосходно изданная Толстовским музеем под редакцией Б. А. Модзалевского, своим настроением точно переносит читателя в умственную атмосферу 17-го столетия, вызывая в памяти переписку Декарта с Мерсенном или Спинозы с Ольденбургом. За Н. Н. Страховым, независимо от его достоинств и недостатков, навсегда останется прочная заслуга в литературе: он один из первых понял, что такое Толстой.

[2]) Бирюков. Цитир. соч., т. II, стр. 170.

[3]) Там-же, т. II, стр. 480.

[4]) Булгаков. У Л. Н. Толстого, стр. 45, 67, 161 и др.

шкафов в Яснополянском доме[1]), знают, что такое — невежество Л. Н. Толстого. А между тем, мало ли у нас иронизировали насчет этого невежества! Сам Чехов, наверное не прочитавший одной десятой части книг, известных Толстому, прохаживался па эту тему. Для современного интеллигента наука — то же самое, что твердыня великого Рима для римского гражданина на чужбине: вместо «civis romanus sum» достаточно произнести магические слова «научно обосновано», и перед обаянием грозной силы, имеющей столько известных каждому реальных проявлений, почтительно разступятся недруги. Но па Толстого слова эти не производили ни малейшего впечатления. Его универсально-анархический ум так же мало признавал суверенитет науки, как суверенитет государственной власти.

Причины этого загадочного явления всем известны: по крайней мере, Толстой дал очень простое, так сказать, официозное об'яснение своей антипатии к науке нашего времени. «Я не только не отрицаю науку, то есть разумную деятельность человеческую», замечает он, «но я только во имя этой разумной деятельности и выражений ее говорю то, что я говорю» (XVII, 161). Во имя «истинной науки» Толстой отрицал «научную науку» нашего времени. Истинная же наука есть то, что «действительно необходимо людям». Все это очень просто. Остается только выяснить, действительно ли должно здесь искать настоящую и единственную причину антипатии Толстого к науке. Что-то уж слишком элементарно это соображение, а мысль великого писателя почти всегда далеко не так проста.

— Наука, — говорит Толстой, — должна была бы об'яснить народу, «каким топором, каким топорищем вы-

[1]) О библиотеке, составленной Толстым и насчитывающей 14 тыс. томов, см. интересные статьи А. Е. Грузинского (Толстовский ежегодник 1912 г., стр. 133) и В. Ф. Булгакова (Толстовский ежегодник 1913 г., стр. 67). Поля книг часто испещрены рукой Толстого, что несомненно сделает эту библиотеку богатым материалом для изучения мысли великого писателя.

годнее что рубить; какая пила самая спорая; как месить лучше хлебы, из какой муки, как ставить их, как топить, как строить печи; какая пища, какое питье, какая посуда, какие грибы можно есть и как их удобнее приготовить» (XVII, 156). Упрек Толстого очевидно несостоятелен: какая посуда лучше, как удобнее приготовить грибы, — это и без науки известно всякой бабе. Да и проблема «полезной» науки разрешается далеко не так легко. В настоящее время теоретическое знание тесно сплелось с практическим и нет никакой возможности отделить то, что полезно, от того, что только интересно. Размышление инженера Сади Карно о двигательной силе огня приводить к созданию отвлеченнейшего из отвлеченных принципов, — второго закона термодинамики. Утилизация этого положения производить переворот в технике, отдельные отрасли которой столь прочно связаны между собой, что изменения парового двигателя не могут не отразиться на цене, если не на устройстве, орудий первой житейской необходимости. Такие общеполезные изобретения, как телеграф, телефон, вся современная электротехника, покоятся на чисто теоретических исследованиях Ампера и Фарадея. Лабораторные работы Пастера спасают от гибели виноделие и шелководство, то есть достояние миллионов французских крестьян. В рабочем кабинете Либиха зарождается идея дешевого мясного супа. А сама несчастная медицина? Какими доводами сражается с ней Толстой? «Защитники науки»..., говорит он например, «почему-то полагают, что вылеченное от дифтерита одно дитя из тех детей, которые без дифтерита нормально мрут в России в количестве 50% и в количестве 80% в воспитательных домах, должно убедить людей в благотворности науки вообще. Строй нашей жизни таков..., что детские болезни, чахотка, сифилис, алкоголизм захватывают все больше и больше людей, что большая доля трудов людей отбирается от них на приготовления к войне, что каждые десять-двадцать лет миллионы людей истребляются войною, и все это происходит от того, что наука... занимается, с одной стороны, оправ-

данием существующего порядка, а с другой — игрушками» (XVII, 240). В этом аргументе, несмотря на его кажущуюся простоту, разберешься далеко не сразу: здесь, в сущности, не один аргумент, а целых четыре: 1) медицина не вылечивает всех детей, больных дифтеритом; 2) люди мрут в России не только от дифтерита; 3) наука оправдывает существующий общественный строй; 4) не велика радость, если и вылечишь ребенка: ведь все равно рано или поздно помрет. Первые аргументы, очевидно, науке не страшны, ибо врачи могут победоносно ответить: сегодня вылечиваем немногих, завтра научимся вылечивать всех, — сегодня — от дифтерита, завтра — от других болезней; в этой «плоскости» спорить с наукой невозможно. Далее, то, что целый ряд весьма видных ученых пристроился на содержание к владыкам существующего порядка, — это, разумеется, святая истина. Но она так же мало свидетельствует против науки an und für sich, как дела Торквемады и Лойолы — против учения Иисуса Христа. Если Вольта ответствен за американский электрический стул, тогда надо поставить в вину Гутенбергу публицистику Булгарина и поэзию Баркова. Все это так очевидно, что даже несколько совестно противопоставлять Толстому доводы подобного рода: он их знал гораздо лучше, чем кто бы то ни было другой. Это ясно уже из того, что в нужную минуту он мастерски умел перебросить спор совсем в другую плоскость, ставя вопрос совершенно иначе: — Вы изобрели противодифтеритную сыворотку, вылечили ребенка, — говорит он ученым, — ну, а дальше что?

— «Зачем все это?» — спрашивал когда-то Толстой у Мопассана, разумея под «всем этим» красоту и любовь в понимании французского писателя, — «ведь это хорошо бы было, если бы можно было остановить жизнь. А она идет. А что такое значит: идет жизнь? Идет жизнь — значит: волосы падают, седеют, зубы портятся, морщины, запах изо рта. Даже прежде, чем все кончится, все становится ужасным, отвратительным, видны размазанные румяна, белила, пот, вонь, безобразие. Где же

то, чему я служил? где же красота? А она — все. А нет ее — ничего нет. Нет жизни. Но мало того, что нет жизни в том, в чем казалась жизнь, сам начинаешь уходить из нее, сам слабеешь, дуреешь, разлагаешься, другие на твоих глазах выхватывают у тебя те наслаждения, в которых было все благо жизни» (XIX, 227).

Что и говорить, в этом Толстой был слишком прав и его слова звучат особо-горькой насмешкой именно в отношении великого французского писателя. К зловещей странице Толстого существует еще более зловещая иллюстрация. Это записки Франсуа, верного камердинера Мопассана. Автору «Bel-Ami» была уготована участь неизмеримо страшнее обычной. Он сошел в могилу заживо. Он знал, что болезнь, вонзившаяся в него в те минуты наслаждения [1]), о которых говорит Толстой со скорбным презрением состарившегося эллина, медленными, но верными шагами ведет его к скотскому состоянию. Нет ничего страшнее, чем рассказ Франсуа о ночи 2 января 1892 года, когда Мопассан, стоя над краем бездны, тупым ножом пытался перерезать себе жилы: «его широко открытые глаза уставились на меня, как бы моля хоть о нескольких словах утешения, надежды». Но не было ни утешения, ни надежды. На следующее утро богатырь, любимец женщин, навеки стал паралитиком; вместо гениального писателя был идиот, наводивший бесстыдными речами ужас на близких и чужих людей. Самые скорбные страницы Экклезиаста, Паскаля, Толстого не могут подействовать сильнее, чем короткая, отвратительная в своем бесстрастии фраза медицинского отчета: «Monsieur de Maupassant est en train de s'animaliser»...

Но и обычная людская участь, участь маленького Ивана Ильича, разумеется, тоже не сладка. Против этого довода, которым так искусно умел пользоваться Толстой, наука совершенно бессильна. Ей не приличествует философия Панглосса или оптимизм à la Альфред Капюс. На-

---

[1]) Louis Thomas. La Maladie et la Mort de Maupassant. Paris 1912 p. 41.

ука не возлагает особенных упований ни на жизненный элексир грядущих алхимиков, ни на Мечниковскую простоквашу; она плохо верит в возрождение века Мафусаила и не очень утешительна, когда обещает человеку бессмертие в виде формы энергии или материи: кого может утешить вечность материально-энергетических процессов, тот и без того достаточно спокоен. Да, вылеченный от дифтерита ребенок не уйдет от той участи, которую мрачно развертывал Толстой перед глазами непокорных читателей. Да, и гениальный ум «слабеет, тупеет, разлагается»: дряхлеет Ньютон, впадает в старческое слабоумие Фарадей. Да, и гений мысли подвержен бессмысленным случайностям судьбы: в корзину Сансона падает голова Лавуазье, Пьер Кюри гибнет под колесами ломовой телеги. Да, sub specie aeterni наука не нужна, бесцельна, нелепа. Но с этой точки зрения отнюдь не более прочно все то, что может быть противопоставлено науке. Где дует ветер вечности, там любое человеческое построение рассыпается, как карточный дом, и само толстовство в первую очередь: «Le silence éternel de ces espaces infinis m'effraye». Это старая песня.

Но как значителен тот факт, что для преодоления науки Толстой решился привлечь на помощь «точку зрения вечности». В его философской системе этот довод — козырный туз, который бьет все, что угодно. А в полемике против науки это вместе с тем единственный козырь. Конечно, Толстой прекрасно видел, что его аргументация о науке истинной и «научной», о науке полезной и бесполезной не может никого убедить. Если есть наука полезная, то нет ни вредной, ни ненужной, ибо все отрасли знания тесно сплетены одна с другой. Кто берет у науки что-нибудь, должен взять и все остальное. Кто признал «грабли и топорище», должен признать и Карно, и Ньютона, и Лавуазье. Все эти аргументы, эти данные дифтеритной статистики, пятьдесят процентов, восемьдесят процентов, как-то не идут Толстому. Они будто взяты из арсенала профессоров теологии и церковных проповедников, по вековой практике которых не мешает при

случае пристыдить гордыню науки ad majorem ecclesiae gloriam и напомнить, что без молитвы врачи все таки не спасут. В самом деле, если медицина может вылечить хотя бы одно дитя из тысячи, значит, она не совсем бесполезна. Если дарвинизм только бесполезен, зачем же говорить, что он сверх того — «образец глупости»? Если ученость — синоним тупоумия, то следует ли корить представителей науки безнравственностью, эксплоататорством и т. д.? Ведь с дурака нечего взять, на то он и дурак...

II

Знаменитый физик Герц, изучая электромагнитную теорию света, созданную гением Кларка Максвелля, испытывал такое чувство, будто в математических формулах есть собственная жизнь. «Они умнее нас», писал Герц, «умнее даже, чем их автор»... Нечто подобное испытываешь при чтении художественных произведений Толстого. Как он ни умен, как он ни глубок, они, кажется, еще умнее, еще глубже. Эти дивные книги живут самостоятельной жизнью, независимой от того, что в них вложил или желал вложить автор; они не хотят повиноваться его воле с обычным в таких случаях послушанием. И очень часто скользящие в них настроения странным блеском отсвечивают на том догматическом здании, которое тридцать лет так упорно воздвигал Л. Н. Толстой.

* *
*

«Мы не чиновники дипломатические», говорит Николай Ростов, «а мы солдаты, и больше ничего. Умирать велят нам — так умирать; а коли наказывают, так, значит, виноват; не нам судить... Коли бы мы стали обо всем судить да рассуждать, так этак ничего святого не останется. Этак мы скажем, что ни Бога нет, ничего нет! Наше дело исполнить свой долг, рубиться и не думать, вот и все».

Отдавая дань веку просвещения, Толстой здесь слегка подсмеивается (несколько заметнее, чем обыкновенно) над Николаем Ростовым. Однако, тенденция «не думать» имеет не только солдатскую разновидность. Николай Ростов избегает рассуждений потому, что он не дипломатический чиновник; он вполне справедливо находит, что рассуждение противно природе военной службы. Но лорд Байрон, вообще очень отдаленно напоминающий Ростова, шел (разумеется, лишь теоретически) гораздо дальше: если верить ему, рассуждение противно самой природе человека: мысль — «ржавчина жизни». Байрон сравнивает ее с демоном [1]).

Толстой в эпоху создания «Войны и Мира» был, в сущности, недалек от Байроновского воззрения. Может быть, он здесь бессознательно следовал инстинкту самосохранения, смутно предвидя, куда, к каким жертвам приведет его «демон» Байрона. К этому взгляду так или иначе сводится философия его гигантского творения, философия жизни, гениально изображенной в «Войне и Мире».

Перед нами две семьи: семья Болконских и семья Ростовых. В первой идет напряженная духовная работа. Все Болконские находятся во власти Байроновского демона. О князе Андрее нечего и говорить. Старый князь занимается математикой, пишет «ремарки», изучает планы кампаний, напряженно следит за политикой. Княжна Марья целиком ушла в религию; у нее нет другой жизни, кроме чисто духовной. Пятнадцатилетний Николушка как будто сконцентрировал в себе «духовность» породы Болконских, так раздражавшую Николая Ростова в князе Андрее. Напротив, в семье Ростовых никто никогда не «мыслит», там даже и думают только время от времени. Граф Илья Андреевич между охотой и картами занят диковинной стерлядью для обеда в Английском Клубе.

---

[1]) «What Exile from himself can flee?
To zones though more and more remote,
Still, still pursues, where'er I be,
The blight of life — the demon Thought».
(Byron. Childe Harold's Pilgrimage. Canto I.).

Николай поглощен мыслями о панне Пшездецкой, о тройке саврасых, о новой венгерке, а всего более о своей службе. У Наташи не выходят из головы, сменяя друг друга, куклы, танцовщик Дюпор, сольфеджи и пеленки. Петя интересуется изюмом, воротничками, рейтузами. У Ростовых нет почти другой жизни, кроме материальной.

И что же? Ростовы все счастливы, они блаженствуют от вступления в жизнь до ее последней минуты. Если их постигают беды, то они носят чисто случайный характер, как, например, разорение. Напротив, Болконские все несчастны. Жизнь старого князя тянется мучительно для него самого и для других. Князь Андрей бесцельно живет, тяготясь жизнью, бессмысленно умирает, не найдя своего дела. Над головой Николеньки в эпилоге начинают собираться грозные тучи, предвещающие декабрьскую бурю. Правда, княжна Марья наслаждается в конце поэмы безоблачной семейной жизнью. Но ведь на то она перестала быть Болконской; она стала Ростовой... Надо освободить ее от власти демона, надо соскоблить с жизни ее ржавчину, — вот одно из невольных значений «Войны и Мира». — «Ах, душа моя», — говорит Пьеру князь Андрей накануне рокового дня Бородинской битвы, — «последнее время мне стало тяжело жить. Я вижу, что стал понимать слишком много. А не годится человеку вкушать от древа познания добра и зла»...

* * *

Одной из многих явных идей «Войны и Мира» был исторический фатализм. Толстой хотел представить Наполеона в образе ребенка, который, теребя тесемки внутри кареты, воображает, что он правит. Великий писатель отводил себе душу на императоре французов. Он, вероятно, уничтожил бы его даже в том случае, если бы исторический фатализм этого не требовал. Может быть, сам исторический фатализм возник в результате стремления во что бы то ни стало уничтожить властелина мира. Наполеон,

удесятеренный человек, был ненавистен Толстому, как воплощенное отрицание всех видов status quo. А поддержание satus quo в эпоху «Войны и Мира» входило, как существенное начало, в мировоззрение Л. Н. Толстого [1]). Он и не пропускает ни единого случая, чтобы уязвить революционного императора. Впоследствии Толстой не мог простить Ренану, что последний включил в «Vie de Jésus» «человеческие унижающие реалистические подробности»[2]). Но все отношение Толстого к Наполеону покоится на точно таких же «унижающих реалистических подробностях». Как настойчиво он подкапывается под пьедестал, на котором высится легендарная бронзовая фигура, как явно умышленно показывает читателю «опухшее, желтое лицо», «толстую спину», «обросшую жирную грудь», «круглый живот», «жирные ляжки коротких ног» императора! Где уж тут старинная легенда поэтов, где «столбик с куклою чугунной под шляпой, с пасмурным челом, с руками, сжатыми крестом»? Толстой снимает с человека судьбы все украшения, вплоть до нижнего белья. Наполеон ему отвратителен тем, что властно, насильственно пытается изменить жизнь, которая в своей красоте не переносит грубого вмешательства. Он смешон, потому что считает это изменение возможным. Все величие Кутузова основано на его прямой противоположности Наполеону. Это величие о т п р о т и в н о г о заключается в том, что в разгар Бородинского боя Кутузов с аппетитом уписывает жареную курицу, чем — правду сказать, не без основания — раздражает флигель-ад'ютанта Вольцогена: — «der alte Herr macht sich ganz bequem», — выражается про себя немецкий офицер. Но сочувствие Толстого всегда на сто-

[1]) Нескрываемое стремление жить так, «чтобы мне с семьей было как можно лучше», составляющее суть Ростовщины, по словам Толстого (несколько преувеличивающим истину), наполняло его жизнь в течение 15 лет. В этом нет ничего удивительного или парадоксального с точки зрения психологии великого человека. Гете развивал в полемике с сен-симонистами точно такие же мысли и до конца своих дней оставался им верен, вполне сходясь в данном случае с Николаем Ростовым.

[2]) Письмо к Н. Н. Страхову от 18 апреля 1878 г. (Толстовский Музей, т. II, стр. 164).

роне Кутузова; «реалистические подробности», вроде жареной курицы и полной румяной попадьи, не унижают, а возвеличивают образ этого единственного в своем роде генерала. Свою нескрываемую ненависть к Наполеону Толстой переносит даже на его маршалов. Но кроме французского императора и его детищ никто другой не приносится в жертву философско-исторической теории «Войны и Мира». Действия Александра[1]) почти не рассматриваются Толстым с фаталистической точки зрения. Что же касается людей меньшего удельного веса, то их жизнь, сопротивляясь основной мысли автора «Войны и Мира», ни за что не хочет улечься в ложе толстовской исторической концепции. Рядом с великим Наполеоном, который изображен бестолковой пешкой в мощной руке Распорядителя, выводятся маленькие и крошечные Наполеоны, прекрасно устраивающие свои дела без всякого вмешательства потусторонней силы. Вот маленький Наполеон — Борис Друбецкой, который в повелители мира, конечно, не попадет, да и не метит, но генерал-ад'ютантом и министром станет непременно, причем пензенские имения его некрасивой супруги Жюли и его собственный природный savoir vivre окажутся ему много полезнее, нежели таинственные намерения Распорядителя. А вот крошечный Наполеон — Альфонс Карлович Берг, «помощник начальника штаба помощника первого отделения начальника штаба второго корпуса». Он тоже проявит себя в будущем не хуже Бориса Друбецкого, а может быть, и лучше, потому что он гораздо глупее: ведь в ту пору человек не только был «чином от ума избавлен», но и умом — от чина. Друбецкие и Берги безраздельно владычествуют на протяжении сорокалетнего периода русской истории 1815—1855 г. Это они расстреливали декабристов на Сенатской площади, они брали штурмом Варшаву, они победили Гергея, они готовили Севастопольский погром; их исторические имена Дибич, Бенкендорф, Ува-

[1]) Весь образ Александра в «Войне и Мире» составлен, впрочем, из чуть заметных, иногда неуловимых намеков. Толстой, конечно, понимал, что пойти дальше значило бы пожертвовать романом.

ров, Клейнмихель, Шварц, Орлов, Закревский, Чернышев, Кампенгаузен, Дубельт, — всех не перечтешь. Берги и Друбецкие несомненно делали историю. Но тот Распорядитель, который, по об'яснению теоретика «Войны и Мира», двадцать лет для чего-то дергал за веревочки титаническую фигуру Наполеона и судьбы мира, таинственно связанные с ней, уж, конечно, никак не мог заниматься Альфонсом Карловичем Бергом: этому одинаково воспротивились бы и религиозная, и историческая эстетика. Очень трудно представить орудием высших, скрытых от человека целей русских деятелей той эпохи, от Аракчеева до Шервуда-Верного, от Марии Нарышкиной до Настасьи Минкиной.

Другая лицевая идея «Войны и Мира» — пацифизм. Толстой несомненно хотел нанести удар Войне и возвеличить Мир. Но это очень трудная задача для художественного произведения. С кровавыми ужасами войны можно и должно бороться красноречием проповеди, еще лучше простыми данными статистики. Сухие цифры всегда убедительны, а в данном случае убийственны; известная книга Блиоха, быть может, — самое ценное, что пока произвела литературная деятельность пацифистов. Но искусство в борьбе с войной натыкается на трудности, которые тем значительнее, чем больше размер полотна и чем выше талант писателя: Берта Сутнер могла написать недурную книгу против войны; Толстому это не удалось. В войне есть красота, страшная, но несомненная, неот'емлемая, и она должна обнаружиться в большом художественном произведении. Картины Верещагина «Торжество победителей» и «На Шипке все спокойно» превосходны; но они не отнимут красоты и частичной правдивости у картин Ораса Верне, Мейсонье, Детайля и других батальных живописцев, имя им легион. Еще лучше, чем творения Верещагина, те толстовские сцены, где открывается ад походных госпиталей, где шестнадцати лет от роду гибнет милый Петя Ростов, где французы и русские об'единяются через цепь в общечеловеческом чувстве приязни, где полуголый французский солдат дарит

Платону Каратаеву нужные ему «подверточки», где русские люди ухаживают за полузамерзшим капитаном Рамбалем. Но при всем этом эпопея Толстого пе проникнута отвращением к войне и уж во всяком случае не внушает его читателям. Напротив, в большинстве военных сцен, вопреки воле автора, война вышла красивой, заманчивой, привлекательной. На Николая Ростова перестрелка действовала, как «звуки самой веселой музыки» (VI, 52); оп при звуках пуль был «не в силах удержать улыбку веселья» (IV, 255); Пьер Безухов, глядя с кургана на Бородинскую битву, «замер от восхищения перед красотою зрелища» и чувствовал «бессознательно-радостное возбуждение» (VI, 185, 190); князь Андрей, в мирное время скучавший и хмурый, на войне «имел вид человека, занятого делом приятным и интересным», «улыбка и взгляд его были веселее и привлекательнее» (IV, 118), а во время Шенграбенской атаки он даже «испытывал большое счастье» (IV, 176); у штабс-ротмистра Кирстена во время боя «глаза блестели больше обыкновенного» (IV, 137); капитану Тушину, по мере нарастания смертельной опасности, «становилось все веселее и веселее» (IV, 182); у полкового командира Шуберта при столкновении с неприятелем лицо было «торжествующим и веселым» (IV, 139); генерал Вейротер накануне Аустерлица выделялся «оживленностью», «самонадеянным и гордым видом» (IV, 247); у императора Александра перед сражением «лицо сияло веселостью и молодостью» (IV, 242); и даже сам Наполеон, на что уж привычный к битвам человек, выехал на Шлапаницкие высоты «здоровый, веселый, свежий»; «на холодном лице его был тот особый оттенок самоуверенного, заслуженного счастья, который бывает на лице влюбленного и счастливого мальчика» (IV, 260) . . . Это, конечно, все начальство, которое воюет с известным комфортом. Но пе менее веселы и солдаты; на каждой странице военных сцен своей поэмы Толстой не забывает отметить то веселые лица, то молодцоватый вид, то слав-

ный ровный ход, то бойкие шутки, то радостный хохот солдат. Даже животные заражаются общей радостью войны: лошадь Николая Ростова «повеселела, как он, от выстрелов» (IV, 255). А какие заманчивые описания походной жизни! Как соблазнительно-вкусно закусывают офицеры «пирожками и настоящим доппелькюмелем, кто на коленях, кто сидя по-турецки на мокрой траве»! Каким орлом проносится перед государем Николай Ростов на своем кровном Бедуине! Какую чудесную атаку совершают кавалергарды, — «огромные красавцы-люди, в блестящих мундирах, на тысячных лошадях»! (чем это не сюжет для Мейсонье!) Как забавна в пересказе Билибина проделка французских маршалов с князем Ауэрспэргом! Как весело проводят вечер за чаем офицеры в кибитке пленительной Марьи Генриховны! Как по Куперовски романтична поездка Долохова и Пети Ростова в неприятельский стан!.. На каждом шагу поэтическая прелесть войны заслоняет от читателя ее кровавые ужасы; страшный соблазн художника — внелогичная красота — что ни шаг, то наносит поражение моралисту. В юношеской среде, в которой зачитываются и вечно будут зачитываться гениальной эпопеей Толстого, она, наверное, создает больше военных, чем пацифистов.

В прелестном рассказе Чехова («Без заглавия») старик-монах, вернувшись в монастырь из большого города, с заплаканным лицом, с выражением скорби и негодования рассказывает братии о городском разврате, о пьянстве, о кутежах, о блудницах... На следующее утро, выйдя из своей келии, старик застал монастырь пустым: все монахи бежали в город. С пацифизмом Л. Н. Толстого случилось нечто весьма сходное. Но это далеко не единственный случай, когда одно начало натуры великого писателя утверждало нечто противоположное тому, что было существом второго начала. Художественное творчество Толстого дает сколько угодно примеров его органической двойственности.

Толстой любил, например, особенно в последние годы своей жизни, действовать на читателя «размягчением», на-

сылая в нужный момент благодать на людей, прошедших examen rigorosum его психологического анализа. Но гениальное художественное чутье, всегда спасая писателя, редко давало возможность торжествовать моралисту. Благодать нисходит на толстовских героев в такие минуты и при таких условиях, что за ней остается сравнительно немного заслуги. Толстой изображал жизнь во всем ее об'еме, имел, как художник, дело с людьми всех решительно образцов, — причем в общем хорошие люди у него преобладают численно над в общем дурными. Но много ли дал он художественных иллюстраций хотя бы к своей излюбленной идее прощения? Алексей Александрович Каренин прощает свою жену, когда находит ее в горячке, дающей 90% смертного исхода. Князь Андрей прощает Анатоля Курагина, увидев, как он, глядя на только что отрезанную ногу, рыдает в предсмертной агонии. При таких условиях прощение весьма напоминает шутку Гейне: остроумный поэт уверял, что охотно простит по христиански всех своих врагов, но только тогда, когда увидит их повешенными. Дело прощения обстоит не лучше в позднейших, «тенденциозных» произведениях Толстого. В одном из этих произведений тенденция принимает даже характер буквального совпадения с великодушием Гейне: палач, повесив утром политического преступника, вечером напивается пьян от угрызений совести. Угрызения совести, конечно, лучше, чем ничего, но политический преступник все же повешен, и не велико нравственное удовлетворение читателя от того, что день, начатый работой на эшафоте, заканчивается пьянством в кабаке. Другой пример чисто тенденциозного произведения, где тенденция оказывается весьма неубедительной, мы находим в маленьком рассказе «Нечаянно», помещенном в посмертном издании сочинений Толстого. Чиновник Миша (автор не называет его фамилии) «нечаянно» проиграл в карты казенные деньги. Вместо того, чтобы чистосердечно повиниться, он, по совету жены, решает отправиться к начальнику Фриму и рассказать ему, что деньги ограблены экспроприаторами. На этом

занавес падает и мы переносимся в другую сцену, происходящую в нижнем этаже того же дома. Шестилетний мальчик Вока «нечаянно» с'ел пирожки, которые ему поручили отнести няне, но, в отличие от чиновника, он, по совету своей сестренки Танечки, сейчас же является с повинной и просит у няни прощения. «И счастливые и веселые были и няня и родители, когда няня, смеясь и умиляясь, рассказала им всю историю» (XX, 128). Трогателен здесь не рассказ, а сам автор; трогателен этот 82-летний старик, который во всех человеческих преступлениях одинаково хочет видеть нечаянную детскую шалость. Но моральная тенденция рассказа — всегда сознавайся в своей ошибке — никого не может удовлетворить, ибо художественная параллель взята совершенно неправильно: если бы чиновник, как Вока, принес повинную в своем «нечаянном» деле, то вряд ли был бы «счастлив и весел» начальник Фрим, а равно трудно думать, чтобы полиция и судьи «смеялись и умилялись», слушая эту историю.

III

В своем роде еще более сомнительна моральная тенденция «Анны Карениной». Она выразилась в знаменитом эпиграфе: «Мне отмщение и Аз воздам». Загадочный эпиграф! Отмщение очень сурово: для Анны — тяжкие нравственные истязания, позор и смертная казнь; для Вронского почти то же самое; он ведь едет на войну, чтобы врубиться в турецкое карре и погибнуть. Но мщение, облекающееся в форму суда, предполагает существование преступников. Где же они, преступники? Защитительная речь художника не оставила камня на камне от обвинительного акта, построенного моралистом. Толстому не удалось скрыть любовь и восхищение, которые внушает ему «преступная» Анна[1]; в некоторых сценах романа (напр., в сцене посещения Карениной Левиным)

[1]) Как известно, прообразом героини романа отчасти послужила Толстому старшая дочь А. С. Пушкина.

он даже не пытается скрыть эти чувства. Вронский ниже Анны на целую голову, но от преступника его отделяет целая пропасть, — пропасть незлобивости, равнодушия, богатства и совершенного «comme il faut». Он — один из тех людей, к которым применимы решительно все эпитеты с прибавкой двух слов «не очень»: Вронский не очень умен, не очень глуп, не очень зол, не очень добр, не очень образован, не очень невежествен и т. д. Таких людей не отправляют на казнь. Остается третий участник драмы — Каренин. Он, конечно, антипатичен автору, как и читателям. Но ведь жертве-то во всяком случае не воздают отмщения.

И за что отмщение? Критик, который, по словам самого Л. Н. Толстого[1]), лучше всех понял и раз'яснил «Анну Каренину», — М. С. Громека дает следующее толкование моральной идеи, выраженной в эпиграфе романа. «Та смутная и суетная вера в достоинство и прочность произвольной смены человеческих страстей, которая называется приложением принципа свободы к области чувства любви, — эта quasi-либеральная вера в романе Анны получает смертельную рану. Художник доказал нам, что в этой области нет безусловной свободы, а есть законы, и от воли человека зависит согласоваться с ними и быть счастливым, или преступать их и быть несчастным. Нет здесь свободы близоруко и преждевременно торжествующему в наше время свою ложную победу человеческому рассудку, думающему, что он может изменить законы человеческого духа, игнорируя их силу, и пре-

[1]) — Правда ли, что вы не читаете газетных и иных критик на вас? — спросил Толстого Г. С. Русанов.

— Правда . . . но вот недавно я сделал исключение для одной. Это — статья Громеки в «Русской Мысли». Превосходная статья! Он об'яснил то, что я бессознательно вложил в произведение.

— В этом я затрудняюсь согласиться с вами. Сам эпиграф к «Анне Карениной», мне кажется, указывает на сознательное отношение автора к произведению.

— В известном смысле, пожалуй . . . Прекраснейшая, прекраснейшая статья! Я в восхищении от нее. Наконец-то об'яснена «Анна Каренина».

(Толстовский ежегодник, 1912 г., стр. 56).

образовав их согласно своим отвлеченным концепциям. Нельзя разрушить семью, не создав ей несчастья, и на этом старом несчастии нельзя построить нового счастия. Нельзя игнорировать общественное мнение вовсе, потому что, будь оно даже неверно, оно все же есть неустранимое условие спокойствия и свободы, и открытая с ним война отравит, из'язвит и охладит самое пылкое чувство. Брак все же есть единственная форма любви, в которой чувство спокойно, естественно и беспрепятственно образует прочные связи между людьми и обществом, сохраняя свободу для деятельности, давая силы для нее и побуждение, создавая чистый детский мир, создавая почву, источник и орудия жизни. Но это чистое семейное начало может создаться лишь на прочном основании истинного чувства. На внешнем рассчете оно построено быть не может. И позднее увлечение страстью, как естественное последствие старой лжи, разрушив ее, не исправит тем ничего и приведет лишь к окончательной гибели, потому что... «Мне отмщение, и Аз воздам». [1])

В этом есть немало фактически верного. Для Вронского общественное мнение бесспорно — неустранимое условие спокойствия (свободу лучше оставить в стороне) и открытая борьба с грозной властью предрассудка должна была, конечно, отразиться на «пылком чувстве» совратителя Анны Карениной. В той длинной цепи, которая притащила Анну под колеса поезда, общественное мнение является, пожалуй, самым существенным звеном. Вронский не может бороться с ветряными мельницами социальных предрассудков не только потому, что дон-кихотовский элемент мало свойствен его натуре; но для него акт подобной борьбы был бы равносилен самоубийству: ведь все величие Вронского, позволяющее ему смотреть на большинство людей, как на вещи, сводится к могуществу социальных предрассудков, — и он сознает это, если не умом, то своим безошибочным инстинктом. Однако, неужели основная идея «Анны Карениной» действительно

[1]) М. С. Громека. Последние произведения гр. Л. Н. Толстого. Москва, 1885 г., стр. 61.

верно формулирована Громекой? Есть ли вообще в его толковании какая-либо моральная идея? В кратких словах оно сводится к старой поговорке: не давши слова, крепись, а давши, — держись. Анна дала слово Каренину и не сдержала его. Вронский дал слово Анне и тоже не сдержал или сдержал плохо. За это оба обрекаются на смерть. Я не говорю ни о несоответствии преступления и наказания, ни о множестве смягчающих обстоятельств, — пусть мы находимся в царстве категорического императива в его строжайшей, нечеловеческой форме! Но в суде над героями «Анны Карениной» отсутствует самое элементарное условие справедливости, без которого суд окончательно превращается в лотерею. Пусть «смутная и суетная вера в достоинство и прочность произвольной смены человеческих страстей» клеймится презрительной кличкой «quasi-либеральной веры». Но равенство всех людей перед могуществом общего закона есть самое элементарное условие самого шаблонного понимания справедливости; это азбука либерализма, к которому никакая ирония, никакая традиционная вера не прилепит пренебрежительной частицы «quasi». И это условие грубейшим образом нарушено в «Анне Карениной». «Бесстыдно растянутое, окровавленное» тело Анны лежит на столе казармы. Но княгиня Бетси Тверская (— «Au fond c'est la femme la plus dépravée qui existe. Она была в связи с Тушкевичем, самым гадким образом обманывая мужа», — говорит о ней снисходительная Анна) продолжает устраивать «cosy chat» и принимать Тушкевича в своей роскошной гостиной Louis XV. Точно также Лиза Меркалова и Сафо Штольц, «забросившие чепцы за мельницы» и своим «новым, совсем новым тоном» несколько смущающие адюльтерный либерализм самой княгини Тверской, продолжают весело проводить время с Васькой Калужским, Стремовым и тем молодым человеком, при входе которого дамы встают, несмотря на его молодость. Вронский — «как человек, развалина» и отправляется автором на смерть. Но Стива Облонский, профессиональный грешник, получает место «члена от комиссии соединен-

ного агентства кредитно-взаимного баланса южно-железных дорог и банковых учреждений»[1]) и безмятежно наслаждается жизнью.

— «Есть манера и манера, как забросить чепцы за мельницы», — говорит на своем переводном языке Бетси Тверская, — ...«муж Лизы Меркаловой носит за ней пледы и всегда готов к услугам. А что там дальше в самом деле, никто не хочет знать. Знаете, в хорошем обществе не говорят и не думают даже о некоторых подробностях туалета. Так и это». Бетси Тверская смотрит на вещи здраво. Желая добра Анне, опытная княгиня осторожно напоминает ей в этом разговоре старые Пушкинские слова: свет не карает заблуждений, но тайны требует для них... — «Свет!» — говорит с презрением Вронский, — «какую я могу иметь нужду в свете?» Правда, Вронский бессознательно говорит неправду. Однако, в устах Анны эти слова звучали бы гораздо правдивее. Она готова жить вне света, но не может жить против него: ведь не одни Картасовы, Стремовы, Меркаловы, выдумали светские максимы; их Анна могла бы презирать, сделав над собой небольшое усилие. Но во власти тех же максим оказываются и самые лучшие. Кроткая Долли не находит возможным составить семейный круг для Анны, которой она обязана очень многим. Когда Дарья Александровна решается заехать в имение Вронского, она бессознательно чуть-чуть гордится этим, как мужественным подвигом во имя дружбы и христианской любви. И чувствует она себя там, как набожный Дант в компании грешников ада. О своих детях Долли отвечает Анне «коротко» и «холодно», как бы не признавая за последней права даже спрашивать о столь чистых и невинных существах. И не только она, но и представитель народа, кучер Филипп, испытывает в этом неправильном доме такое же смутное чувство неловкости. — «А так мне скучно что-то показалось, Дарья Александровна, не знаю, как вам», говорит он Долли. Добрая Варя, полу-

[1]) Тоже в своем роде «господин финансов», — и чина такого нет.

чившая от Вронского в подарок состояние, категорически отказывает ему в его просьбе пригласить в свое общество Анну, хотя, конечно, была бы очень рада принять княгиню Тверскую. И в Варе, и в Долли, и в Кити, как они ни симпатичны Толстому, он наметил, правда, едва-едва заметными штрихами, черты «честных женщин, усталых от своего ремесла»[1]). Более того, сам высоконравственный Левин, презирающий свет, ненавидящий предрассудки, не пустит к себе Каренину на порог. Степан Аркадьевич завез его, правда, в дом своей сестры, но Левин дал согласие на этот визит лишь после нескольких бутылок шампанского и, едва выехав из клуба, уже спросил себя, «хорошо ли он делает, что едет к Анне». А затем, когда он совершенно протрезвился и увидел чистую Кити, «сомнения его о том, хорошо или дурно он сделал, поехав к Анне, были окончательно разрешены. Он знал теперь, что этого не надо было делать».

«Всякая женщина, у которой есть тридцать тысяч дохода, — порядочная женщина», сказал Бальзак, и своими циничными словами выразил часть правды-истины нынешнего общества. Пусть правда-справедливость вносит свой корректив в эти и всевозможные другие циничные слова. Но ни лицемерие, ни самообман не могут быть коррективом к цинизму. Где живут припеваючи Облонские и Тверские, там гибель Анны Карениной трудно представить актом высшей справедливости. О, мы очень далеки от тех старинных романов, в последней главе которых злодей с криком проклятья на устах уводится полицией в тюрьму, а представитель добродетели получает миллионное наследство. Но ведь скромные требования, которые мы пред'являем художнику, мы вправе пред'-

---

[1]) «Я хотела рассказывать Долли и хорошо, что не рассказала», лихорадочно-быстро думает Анна в свой последний день. «Как бы она рада была моему несчастью! Она бы скрыла это; но главное чувство было бы радость о том, что я наказана за те удовольствия, в которых она завидовала мне. Кити, та еще бы более была рада. Как я ее всю вижу насквозь!»

явить и моралисту. Что же мы видим? Берется случай из жизни, лишний раз подтверждающий старые слова: нет правды на земле! — подвергается гениальной художественной разработке, а затем к нему белыми нитками пришивается эпиграф, точно специально созданный для нравственного удовлетворения английских клерджименов!

За что же отмщение? За нелогичность человеческой природы, не желающей в порыве страсти считаться с богословами, с моралистами, с communis doctorum opinio? — Анна виновата тем, что не набросила покрова тайны на свое заблуждение, — говорят светские моралисты. — Анна нарушила закон, установленный Богом, — говорят моралисты духовные... Но почему же мы обязаны верить тому, что они говорят?

— «Неужели они не простят меня, не поймут, как это все не могло быть иначе?» — сказала она (Анна) себе. «Остановившись и взглянув на колебавшиеся от ветра вершины осин с обмытыми, ярко блистающими на холодном солнце листьями, она поняла, что они не простят, что все и все к ней теперь будут безжалостны, как это небо, как эта зелень».

«Анна сидела в том же положении, опустив голову и руки, и изредка содрогалась всем телом, желая как бы сделать какой-то жест, сказать что-то и опять замирая. Она беспрестанно повторяла: «Боже мой! Боже мой!» Но ни «Боже», ни «мой» не имели для нее никакого смысла. Мысль искать своему положению помощи в религии была для нее, несмотря на то, что она никогда не сомневалась в религии, в которой была воспитана, так же чужда, как искать помощи у самого Алексея Александровича. Она знала вперед, что помощь религии возможна только под условием отречения от того, что составляло для нее весь смысл жизни».

Где же закон, установленный Богом? Если религия, как сам Алексей Александрович, дает помощь ценой отнятия смысла у жизни, если она не понимает, «что это все не могло быть иначе», — тогда чем же Бо-

жеский закон отличается от формального человеческого закона? Не вправе ли мы сказать, что приговор вынесен Анне точно в мертвом кассационном суде, где дела не рассматриваются по существу? Не вправе ли мы подумать, что мысль, выраженная в эпиграфе романа, больше похожа на злую насмешку, чем на справедливый Божеский приговор?

А сам Алексей Александрович Каренин? Яркость изобразительного гения Толстого так велика, что читателю навеки передалось то чисто физиологическое отвращение, которое чувствовала к своему мужу Анна. Нам противны хрящи его ушей, его тупые ноги, белые мягкие руки с напухшими жилами, трещание пальцев, его визгливый голос. Когда ровно в двенадцать часов ночи он, вымытый и причесанный, проходит в туфлях в спальню, и «особенно улыбаясь», говорит Анне: «пора, пора», в нас пробегает судорога легкой физической тошноты... Когда Каренин совершает самоотверженный подвиг прощения, которым очевидно хочет восхищаться Толстой, этот добродетельный чиновник умеет и христианское чувство облечь в канцелярскую форму. — «Я должен», — говорит он Вронскому, — «вам об'яснить свои чувства, те, которые руководили мной и будут руководить, чтобы вы не заблуждались относительно меня... Не скрою от вас, что, начиная дело, я был в нерешительности...», и так далее... Точно он речь произносит в комиссии об орошении полей Зарайской губернии. Мы даже плохо верим тому, что он несчастлив. После тяжелого об'яснения между Карениными, «Анна легла на свою постель и ждала каждую минуту, что он еще раз заговорит с нею... Вдруг она услыхала ровный и спокойный носовой свист. В первую минуту Алексей Александрович как будто испугался своего свиста и остановился; но, переждав два дыхания, свист раздался с новою, спокойною ровностью». Если Вронский неприятен тем, что в нем на первый план выдвинуто красивое, выхоленное, здоровое человеческое тело, то неизмеримо противнее своей безкровностью Каренин, которому совершенно чужд голос физической стра-

сти. Он — как Петр во «Власти Тьмы», о котором Матрена говорит: «его вилами ткни, кровь не пойдет»... Встретив у себя в доме любовника жены, «Алексей Александрович, пожевав ртом, поднял руку к шляпе и прошел». Узнав о неверности Анны, он придумал план действия, который Толстой не решился развить, ограничившись прозрачным намеком: «Обдумывая дальнейшие подробности, Алексей Александрович не видел даже, почему его отношения к жене не могли оставаться такие же почти, как и прежде». — «Он совершенно доволен», — с усмешкой говорит о своем муже Анна. — «Это не мужчина, не человек, это кукла. Никто не знает, но я знаю». Нам понятна дружба Каренина с графиней Лидией Ивановной. Последней Толстой дал характеристику, исполненную тончайшего юмора: «Графиня Лидия Ивановна очень молодою восторженною девушкой была выдана замуж за богатого, знатного, добродушного и распутнейшего весельчака. На второй месяц муж бросил ее и на восторженные ее уверения в нежности отвечал только насмешкой и даже враждебностью, которую люди, знавшие и доброе сердце графа и не видевшие никаких недостатков в восторженной Лидии, никак не могли об'яснить себе. С тех пор, хотя они не были в разводе, они жили врозь, и когда муж встречался с женой, то всегда относился к ней с неизменной ядовитою насмешкой, причину которой нельзя было понять...» Критика давно уже отметила редкое целомудрие художественного творчества Толстого. Но для чего ему скабрезные сцены, когда, не произнося ни одного рискованного слова, он с таким неподражаемым мастерством умеет поднять завесу над чем угодно, вплоть до альковных тайн? Графиня Лидия Ивановна, которая «никогда не могла понять того, что приводит женщин к безнравственности», вся в приведенных мною нескольких строчках, со своей вечной влюбленностью, со своей затаенной жестокостью, со всем своим рыбьим величием замужней старой девы. Нам совершенно понятно, почему она и Алексей Александрович были точно созданы природой для восторженной влюбленной дружбы.

Но и сам Каренин отнюдь не выставлен перед читателем виновником трагедии. Как ни антипатичен Толстому до с трудом подавляемого отвращения этот обманутый муж несчастной жены, как ни запутан его моральный счет с Анной, перед людьми Алексей Александрович не виновен; напротив, люди виноваты перед ним.

«Он почувствовал, что ему не выдержать того всеобщего напора презрения и ожесточения, которые он ясно видел на лице и этого приказчика, и Корнея, и всех без исключения, кого он встречал в эти два дня. Он чувствовал, что не может отвратить от себя ненависти людей, потому что ненависть эта происходила не от того, что он был дурен (тогда бы он мог стараться быть лучше), но от того, что он постыдно и отвратительно несчастлив. Он знал, что за это, за то самое, что сердце его истерзано, они будут безжалостны к нему. Он чувствовал, что люди уничтожат его, как собаки задушат истерзанную, визжащую от боли собаку. Он знал, что единственное спасение от людей — скрыть от них свои раны, и он это бессознательно пытался делать два дня, но теперь почувствовал себя уже не в силах продолжать эту неравную борьбу».

Есть, очевидно, кто-то хуже Алексея Александровича и этот кто-то — «все», одинаково безжалостные к Анне и к Каренину. Вот поистине неслыханная трагедия брака: Анна виновата перед Богом, Каренин не виноват ни перед кем, а травят их люди, «все», то есть в отдельности никто. Быть может, оттого так волнуют нас, так хватают за душу некоторые сцены «Анны Карениной», что мы чувствуем бессилие великого писателя, видим, как тщетно он пытается подчинить моральной идее созданный им волшебный мирок; перед нами проходит ряд сцен, которым нет равных в литературе по силе художественного под'ема: Анна на именинах Сережи, Анна в ложе оперного театра, последние часы Анны... Перед нами страдание истинное, жгучее, неподдельное, а виновных нет. Срываешь злобу на худой, маленькой Картасовой, на старухе Вронской, но это — стрелочники катастрофы... И если сокращенно выразить то, что действительно сказал в своем романе

Л. Н. Толстой, мы получим странную формулу: никто из этих людей не виновен и не заслуживает отмщения, но все же некоторым «Аз воздам»...

IV

Как же, однако, быть с толкованием Громеки, которое получило высшую санкцию самого автора «Анны Карениной»? Заметим, впрочем, что отзыв Л. Н. Толстого не имеет в данном случае большого значения. Толстой никогда не принимал в серьез литературную критику (хотя порою жадно ею зачитывался) и не верил, что она может передать целиком истинное содержание произведения искусства. Для него, как для художника Михайлова, любое меткое соображение критика «было одно из миллионов других соображений, которые все были бы верны». — «Критика», писал он Страхову, «для меня скучнее всего, что только есть скучного на свете. В критике искусства все правда, а искусство потому только искусство, что оно все»[1]. Толстой любезно благодарил за отзывы об «Анне Карениной» и Фета, и Страхова, и Громеку, лестно оценивая критическое дарование каждого из них. Но в его благодарности, как и в его высокой оценке, всегда звучит нота глубокого недоверия и даже иронии, — тонкой, незаметной, истинно-Толстовской иронии: «Вы пишете: так ли вы понимаете мой роман и что я думаю о ваших суждениях; разумеется, так. Разумеется, мне невыразимо радостно ваше понимание, но не все обязаны понимать так, как вы... Ваше суждение о моем романе верно, но не на все, то есть все верно, но то, что вы сказали, выражает не все, что я хотел сказать... Если критики теперь уже понимают и в фельетоне могут выразить то, что я хочу сказать, то я их поздравляю и смело могу уверить qu'ils en savent plus long que moi. Очень,

[1] Бирюков. Л. Н. Толстой, т. II, стр. 213.

очень благодарю вас»[1]). Последнее признание особенно ценно.

Впрочем, каков бы ни был авторитет критической оценки Громеки, мы имеем возможность противопоставить ему нечто высшее: через 15 лет после «Анны Карениной» вышла в свет «Крейцерова Соната»...

В одном из парижских cabarets, где в обмен на серебряный франк полунощному посетителю преподносится рюмка скверного ликера и глубокая философская мысль, можно увидеть следующий любопытный «эффект освещения». Перед вами стоит живой человек в полном цвете здоровья, силы и красоты. Только вы успели на него насмотреться, как по мановению распорядителя тот же человек превращается в живой труп. Черты его лица почти не изменились, но волосы выпали, зубы искрошились и почернели, тело покрылось гноящимися язвами, в которых копошатся отвратительные черви... Этот фокус приходит мне в память при сопоставлении «Анны Карениной» и «Крейцеровой Сонаты». Такое сопоставление напрашивается само собой, благодаря общности остова обоих произведений, что неоднократно отмечалось в критической литературе.

Толстой не очень высоко ценил «Крейцерову Сонату», как художественное произведение. В самом деле, форма ее крайне стеснительна для автора: рассказ всегда дает возможность изобразить по-настоящему только одну фигуру — самого рассказчика. А в данном случае и обстановка рассказа очень искусственна: при случайной встрече в вагоне не описывают своей жизни с таким обилием тончайших психологических деталей. Хотя Толстой умышленно довел здесь до максимума свою обычную небрежность речи и грамматическую беззаботность, все же рассказ Позднышева слишком литературен для разговора. Но эта форма была выбрана не случайно. Всякая другая форма обязывала автора к об'ективности, а на этот раз Толстой не мог и не желал быть об'ективным. Если бы

[1]) Письмо к Н. Н. Страхову от 26-го апреля 1876 г. «Анна Каренина» в ту пору еще не закончилась печатаньем.

зарезанная жена Позднышева встала перед нами не в изображении ее убийцы, а в беспристрастном рисунке самого художника, она оказалась бы несчастной жертвой. Для Позднышева же она — «мерзкая сука», как музыкант Трухачевский — «дрянной человечек». Замечательна эта наружно-циническая черта Позднышевского рассказа, — то, что убийца, не стесняясь, клеймит зарезанную им женщину. — «Добился своего, убил . . .», — вспоминает он со злобой ее предсмертные слова. — «И в лице ее сквозь физические страдания и даже близость смерти выразилась та же старая, знакомая мне, холодная животная ненависть. — Детей . . . я все-таки тебе . . . не отдам . . . Она (ее сестра) возьмет . . . О том же, что было главным для меня, — о своей вине, измене, она как бы считала нестоящим упоминать». Видя свою жертву на смертном одре, убийца думает только о «главном для себя», — об ее вине. Нужен был весь гений Толстого, чтобы этот штрих Позднышевского рассказа остался безнаказанным, — чтоб, повинуясь могучей воле художника, читатель все-таки принял сторону убийцы, обвиняющего жертву. «Крейцерова Соната» одна из удивительнейших книг, какие только существуют. Этот монолог, занимающий более пятидесяти страниц, горит и жжет огнем нескрываемой, сосредоточенной ярости[1] . . . Как опытный художник, Толстой время от времени прерывает рассказ Позднышева то ненужным замечанием его собеседника, то появлением кондуктора поезда, желая дать минутный отдых вниманию читателя; но в данном случае перерывы оказываются совершенно бесполезными и скорее вызывают раздражение. Я думаю, что никто никогда не читал «Крейцеровой Сонаты» в два присеста, — и это высшая похвала, которую можно сделать писателю.

Одна из наиболее трудных, даже неразрешимых задач литературной критики заключается в установлении той

[1]) Необыкновенно выразительно характеризует эту книгу Ром. Роллан: «C'est une oeuvre féroce, lâchée contre la société, comme une bête blessée, qui se venge de ce qu'elle a souffert» («Vie de Tolstoi», 3-me édition, p. 138).

грани, до которой простирается моральная ответственность художника за мысли и деяния его героев. Стоит автору приправить свое произведение иронией, презрением или обличительной тенденцией, — и он навсегда заслонен от негодующего красноречия людей, которые больше всего на свете любят пред'являть моральные иски. Между Федором Карамазовым и Федором Достоевским авторское презрение вырыло глубокую пропасть, в которую никто никогда не посмеет бросить хотя бы одну горсть земли. Мы не сделаем Достоевского ответственным ни за Свидригайлова, ни за подпольного человека, что бы ни сообщали Страховы о частной жизни писателя, какую бы мрачную повесть ни говорило нам страшное лицо, изображенное на портрете Перова [1]). Но безбоязненный Толстой не отделяет себя от Позднышева; он не иронизирует над ревнивым мужем (классическая тема для насмешки), не гнушается безжалостным убийцей (классическая тема для содрогания). В споре Позднышева с миром он без колебания выбирает место за пюпитром прокурора: только за преступление Позднышева обвиняется все человечество, а в качестве соучастника и подстрекателя сама природа, — Deus sive natura.

Как Спиноза, как Шекспир, и гораздо сильнее, чем они, Толстой подчеркивает животный характер ревности. Благодаря этому обстоятельству, английские клерджимэны и другие высоконравственные люди получили возможность сузить до чрезвычайности моральный и философский смысл «Крейцеровой Сонаты». В сущности, позиция высоконравственных людей в отношении этой книги очень точно формулирована «некрасивой, немолодой курящей дамой в полумужском пальто», которая, «чуть заметно улыбаясь», разговаривала о любви с адвокатом, старым купцом и Позднышевым: «Ведь главное — то, чего не понимают такие

---

1) «Когда какая нибудь мысль приводила его (Достоевского) в гнев», рассказывает де-Вогюэ, лично знавший знаменитого романиста, «то вы бы готовы были поклясться, что встречали эту физиономию на скамье подсудимых в уголовном суде или среди бродяг, просящих милостыню у ворот тюрем». («Le Roman russe», p. 270).

люди», — сказала дама, — «это то, что брак без любви не есть брак, что только любовь освящает брак и что брак истинный только тот, который освящает любовь»... «Вы все говорите про плотскую любовь», — доказывала она Позднышеву. «Разве вы не допускаете любви, основанной на единстве идеалов, на духовном сродстве?» К этому нечего прибавить. Но ответ дамы, как известно, не удовлетворил Позднышева: — «Духовное сродство! Единство идеалов!» — повторил он, издавая свой звук. — «Но в таком случае незачем спать вместе (простите за грубость). А то вследствие единства идеалов люди ложатся спать вместе». Здесь даме оставалось презрительно замолчать, что она и сделала. Высоконравственные люди последовали ее примеру.

С Позднышевым ничего не поделаешь. Он ищет логики во внелогичном, стало быть, с ним не может быть спора. Но душа у него все-таки есть, точно на зло клерджимэнам, и от Позднышевщины очень трудно отделаться ссылкой на природную ненормальность ее носителя. «Крейцерова Соната» тем в особенности поражает, что внешне-трагическое в ней появляется лишь в конце, а могло бы и вовсе не появляться. До самой сцены убийства это обыкновеннейшая из всех обыкновенных историй. И когда под ногами Позднышева вдруг открывается бездна, мы не можем отделаться от сознания, что на волоске от той же бездны, на волоске от гибели находится каждый живущий человек.

«Удивительное дело», говорит Позднышев, рассказывая историю своей женитьбы, «какая полная бывает иллюзия того, что красота есть добро. Красивая женщина говорит глупости, ты слушаешь и не слышишь глупости, а слышишь умное. Она говорит, делает гадости, и ты видишь что-то милое. Когда же она не говорит ни глупостей, ни гадостей, а красива, то сейчас уверяешься, что она чудо как умна и нравственна».

Это очень точно переданная история идиллии Левина и Кити Щербацкой. Вся разница между обеими идиллиями заключается в том, что Позднышев окончательно влюбился в свою невесту, катаясь с ней на лодке при лунном свете,

тогда как Кити и Левин об'яснились в любви в гостиной у Степана Аркадьевича. При этом случае Кити, наверное, не говорила гадостей, можно с натяжкой допустить, что она не говорила и глупостей, а так как Кити сверх того была очень красива, то и произошло все то, что полагается по рецепту Позднышева: Левин «вернулся домой в восторге и решил, что она верх нравственного совершенства и что потому-то она достойна быть его женой, и на другой день сделал предложение» (только подлежащее пришлось переменить в этой фразе, заимствованной из «Крейцеровой Сонаты»).

Оглядываясь на историю своей женитьбы, Позднышев говорит, что родители его невесты (не без благосклонного содействия ее самой) расставили ему «капкан»: «И мое состояние», говорит он, «и платье хорошо, и катанье на лодках удалось. Двадцать раз не удавалось, а тут удалось. В роде как капкан. Я не смеюсь. Ведь теперь браки так и устраиваются, как капканы... Скажите какой нибудь матушке или самой девушке правду, что она только тем и занята, чтобы ловить жениха. Боже мой, какая обида! А ведь они все только это и делают, и больше им делать нечего. И что ведь ужасно: это видеть занятых этим иногда совершенно молоденьких, бедных невинных девушек. И опять, если б это открыто делалось, а то все обман. «Ах, происхождение видов, как интересно! Ах, Лили очень интересуется живописью! А вы будете на выставке? Как поучительно! А на тройках, а спектакли, а симфония? Ах, как замечательно! Моя Лили без ума от музыки. А вы почему не разделяете эти убеждения? А на лодках!..» А мысль одна: «возьми, возьми меня! мою Лили! Нет, меня! Ну, хоть попробуй!..» О, мерзость! ложь!»

«Капкан» — очень некрасивое слово, которое следовало бы заменить эвфемизмом. Левин никогда не жаловался на то, что его предательски изловили. Мы знаем, впрочем, что Дарья Александровна посылала к нему из Ергушова за седлом для Кити и в своей записке вскользь замечала: «Надеюсь, что вы привезете его (то есть седло) сами». Мы знаем также, что Степан Аркадьевич невзначай при-

гласил к себе Левина на обед, на котором должна была присутствовать Кити, отказавшая ему, Левину, и одумавшаяся после короткого опыта с графом Вронским. На этом обеде «совершенно незаметно, не взглянув на них, а так, как будто уж некуда было больше посадить, Степан Аркадьевич посадил Левина и Кити рядом. — «Ну, ты хоть сюда сядь, — сказал он Левину». Левин не протестовал. Впрочем, он даже протестовал. Получив от Долли записку о седле, он разозлился: «Как умная, деликатная женщина могла так унижать сестру!» и послал седло без всякого ответа. А когда Дарья Александровна очень откровенно заговорила с ним о неудобствах, встречаемых девушкой при выходе замуж, и несколько менее откровенно — о причинах отказа, полученного им от Кити [1]), Левин совершенно возмутился: — «Дарья Александровна», — сказал он, — «так выбирают платье или, не знаю, какую покупку, а не любовь. Выбор сделан, и тем лучше... И повторения быть не может». — «Ах, гордость и гордость!» — ответила на это Долли, «как будто презирая его за низость этого чувства в сравнении с тем другим чувством, которое знают одни женщины». Толстой так и не об'яснил нам тогда, что это за другое чувство.

Как бы то ни было, капкан не капкан, а что-то такое, напоминающее охоту, было организовано и для уловления Левина. Одним словом, он стал женихом, как «все», как в числе «всех» и герой «Крейцеровой Сонаты». О времени своего жениховства Позднышев вспоминал с смешанным чувством ужаса и отвращения. Его возмущала даже обыч-

---

[1]) — «В ней было колебание: вы или Вронский», — об'ясняет Долли Левину мотивы поступка Кити. — «Его она видела каждый день, вас давно не видала». К сожалению, Степан Аркадьевич не догадался придумать это деликатное об'яснение и выпалил перед Левиным другое, несколько менее деликатное: — «Если было с ее (Кити) стороны что нибудь тогда», — говорит он Левину с «хитрым, дипломатическим» выражением лица, — то это было увлечение внешностью. Этот, знаешь, совершенный аристократизм и будущее положение в свете подействовали не на нее, а на мать». (Как мы видим, в самом конце чуткий Стива спохватился: «не на нее, а на мать»; мы точно присутствуем при этой сцене).

ная внешняя сторона этого состояния: «безобразный обычай конфет, грубого обжорства сладким и все эти мерзкие приготовления к свадьбе: толки о квартире, спальне, постелях, капотах, халатах, белье, туалетах». Все это было и у Левина. Он также скакал за конфетами, цветами, подарками, обсуждал, хотя неохотно, с княгиней Щербацкой вопросы большого и малого приданого. Но то, что Позднышев находил безобразным и мерзким, Левину представлялось лишь удивительным и чуть-чуть неприятным. «Он удивлялся, как она, эта поэтическая прелестная Кити, могла в первые же не только недели, в первые дни семейной жизни думать, помнить и хлопотать о скатертях, о мебели, о тюфяках для приезжих, о подносе, о поваре, обеде и т. п... Ее мелочные хлопоты и заботы оскорбляли его». Что касается связи духовной, то о ней Позднышев и говорить не мог без своего полурыдающего звука: «Какая гадость! Ведь подразумевается любовь духовная, а не чувственная. Ну, если любовь духовная, духовное общение, то словами, разговорами, беседами должно бы выразиться это духовное общение. Ничего же этого не было. Говорить бывало, когда мы останемся одни, ужасно трудно. Какая-то это была Сизифова работа. Только выдумаешь, что сказать, скажешь, опять надо молчать, придумывать. Говорить не о чем было». Всю эту, не лишенную, однако, важности, сторону «духовного общения» между Левиным и Кити Толстой обошел загадочным молчанием. Он посвящает десятки страниц детальному описанию того «блаженного сумбура», который овладел Левиным после объяснения с Кити. Как забавно отражает автор на фоне этого блаженного сумбура едва знакомых Левину людей — Свияжского, его жену и свояченицу, секретаря какого-то общества, Егора, игрока Мяскина, извозчиков, школьников, лакеев! Но Кити от момента обручения и до самой свадьбы остается совершенно в стороне. О «духовном общении» (кроме небольшого эпизода передачи дневников холостой жизни Левина) нет и речи. Точно здесь пропущена какая-то важная глава. Лишь вскользь сообщается, что «Левину было постоянно неловко, скучно, но напряжение счастия шло, все

увеличиваясь» (кажется, здесь впервые в литературе и в жизни скука и неловкость оказались совместимыми с напряженным счастьем).

Наконец, Левин женился и для него наступил тот «хваленый медовый месяц», о котором Позднышев и говорить не мог по человечески, а только «шипел». — «Ведь название-то, однако, какое подлое!» — со злобой прошипел он... — «Неловко, стыдно, гадко, жалко, и главное — скучно, до невозможности скучно!» (отношение Толстого к данному виду скуки, как видим, успело перемениться). — «Это нечто в роде того, что я испытывал, когда приучался курить, когда меня тянуло рвать и текли слюни, а я глотал их и делал вид, что мне очень приятно». Впрочем, при изображении того, что обычно считается апогеем семейного счастья, Толстой «Анны Карениной» не далеко отстал от Толстого «Крейцеровой Сонаты»: «вообще тот медовый месяц, то есть месяц после свадьбы, от которого, по преданию, ждал Левин столь многого, был не только не медовым, но остался в воспоминании их обоих самым тяжелым и унизительным временем их жизни. Они оба одинаково старались в последующей жизни вычеркнуть из своей памяти все уродливые, постыдные обстоятельства того нездорового времени»... Еще шаг дальше: начинаются ссоры. И Левин, и Позднышев ссорятся с женами беспрестанно, без причины, мирятся и снова ссорятся по пустякам. «Ссоры», рассказывает Позднышев, «начинались из за таких поводов, что невозможно бывало после, когда они кончались, вспомнить из за чего». Равным образом у Левина и Кити «столкновения происходили из таких непонятных, по ничтожности, причин, что они потом никак не могли вспомнить, о чем они ссорились». По истечении короткого времени, Позднышев заметил, что «женитьба не только не счастье, но нечто очень тяжелое». Левин же весьма скоро стал думать, что быть женатым «хотя и очень радостно, но очень трудно». Духовного общения, «единства идеалов», как говорит чуть заметно улыбающаяся дама, не было и после женитьбы. «Вдвоем», рассказывает Позднышев, «мы были почти обречены на молчание или на

такие разговоры, которые, я уверен, животные могут вести между собой: «который час? пора спать. Какой нынче обед? куда ехать? что написано в газете? Послать за доктором. Горло болит у Маши». Левину же «смутно приходило в голову, что не то, что она сама (Кити) виновата (виноватою она ни в чем не могла быть), но виновато ее воспитание, слишком поверхностное и фривольное» . . . «Да, кроме интереса к дому (это есть у нее), кроме своего туалета и кроме broderie anglaise, у нее нет серьезных интересов . . . Левин в душе осуждал это».

Приходит, наконец, черед того, что составляет видимую сущность «Крейцеровой Сонаты» и только на втором плане рисуется в истории жизни Левина и Кити. Но это дело перспективы; по существу же, ревность Левина мало отличается от ревности Позднышева. Ревнуют все люди на один манер и в любом французском романе ревность очень похожа на то, что с таким загадочным знанием дела описал аскет-отшельник Спиноза. У Левина же и Позднышева сходство в проявлениях этого чувства доходит до полного тождества. Когда Трухачевский и жена Позднышева говорили невинные слова, обмениваясь виноватыми взорами, Позднышев «приятно улыбался, делая вид, что мне очень приятно». «Я должен был», рассказывает он, «для того, чтобы не отдаться желанию сейчас же убить его, ласкать его. Я поил его за ужином дорогими винами, восхищался его игрой, с особенной ласковой улыбкой говорил с ним и позвал его в следующее воскресенье обедать и еще играть с женой». Точно также Левин в присутствии Васеньки Весловского изображал на лице какую-то «особенную приятность», старался «рассыпаться с Васенькой в любезностях». Позднышев «с особенною учтивостью» провожал Трухачевского до передней («как не провожать человека, который приехал с тем, чтобы нарушить спокойствие и погубить счастие целой семьи!») и «жал с особенной лаской его белую, мягкую руку» (этот физический признак, свойственный Каренину, Сперанскому, Трухачевскому, как известно, означал высшую степень антипатии Толстого). Левин «уже видел себя обманутым мужем, в котором пу-

ждаются жена и любовник только для того, чтобы доставлять им удобства жизни и удовольствия . . . Но, несмотря на то, он любезно и гостеприимно расспрашивал Васеньку об его охотах, ружье, сапогах, и согласился ехать завтра». Даже во внешности есть что-то общее между Весловским и Трухачевским. Нарушители чужого семейного «счастья», Курагины, Вронские, Весловские, Облонские, Трухачевские, при сильных индивидуальных отличиях, имеют какие-то общие черты. Всем им прежде всего свойственно особое, сочное, режущее глаз физическое здоровье, которое способно раздражать не только больных, но и не больных людей. Васенька Весловский был красивый, полный молодой человек, своим необычайным аппетитом удивлявший даже Стиву. Трухачевский в описании Позднышева «человек здоровый (помню, как он хрустел хрящом в котлетке и обхватывал жадно красными губами стакан с вином), сытый, гладкий». В Васеньке Левину не нравилось «его праздничное отношение к жизни и какая-то развязность элегантности». Трухачевский был ненавистен Позднышеву своей «внешней элегантностью» и тем, что «держал себя развязно, на все отвечал поспешно, с улыбочкой согласия и понимания». У Васеньки «длинные ногти», «шотландская шапочка с лентами», «зеленая охотничья блуза». У Трухачевского «прическа последняя, модная», «ярких цветов галстухи с особенным парижским оттенком», «бриллиантовые запонки дурного тона». В обоих случаях антипатия мужей и автора концентрируется на каком нибудь случайном физическом признаке. У Васеньки заботливо отмечаются «толстые ляжки» и «поджимание жирной ноги»; у Трухачевского — «подрагивающие ляжки» и «подпрыгивающая, птичья походка».

Развязка романа, конечно, различна в обоих случаях. В припадке безумного, въ сущности, ничем не вызванного [1])

[1]) В первоначальном варианте «Крейцеровой Сонаты» (Толстовский Ежегодник 1913 г.) Позднышев убивал жену, застав ее в об'ятиях любовника. Гениальное художественное чутье подсказало Толстому, что впечатление повести окажется гораздо сильнее, если убитая женщина будет только оставлена в подозрении.

бешенства Позднышев убивает свою жену и по чистой случайности оставляет в живых Трухачевского, тогда как Левин только выгоняет из дому Васеньку Весловского к стыду и огорчению Степана Аркадьевича и княгини Щербацкой. Впрочем, изгоняя несчастного Васеньку, Левин был очень не далек от того, что деликатные французы зовут «жестами». По крайней мере, так понял его намерения сам Васенька. «Вероятно, вид этих напряженных рук, тех самых мускулов, которые он нынче утром ощупывал на гимнастике, и блестящих глаз, тихого голоса и дрожащих скул убедили Васеньку больше слов». Но это не очень важно. В сущности, измена жены Позднышева, предполагаемая или действительная, да и кровавый поступок оскорбленного мужа, имеют в «Крейцеровой Сонате» лишь второстепенное значение. Не в них ужас рассказа и не Трухачевский виновник трагедии. Семейная жизнь Позднышевых — настоящий ад, независимо от измены и убийства. Еще до появления Трухачевского жена Позднышева отравлялась, а он сам «был несколько раз на краю самоубийства». «Я смотрел иногда», рассказывает он, «как она наливала чай, махала ногой, подносила ложку ко рту, шлюпала, втягивала в себя жидкость, и ненавидел ее именно за это, как за самый дурной поступок». «Живем мы», говорит он еще, «как будто в перемирии и нет никаких причин нарушать его; вдруг начинается разговор о том, что такая-то собака на выставке получила медаль, говорю я. Она говорит: не медаль, а похвальный отзыв. Начинается спор. Начинается перепрыгиванье с одного предмета на другой, попреки: «ну, да это давно известно, всегда так», «ты сказал . . .» «нет, я не говорил», «стало-быть, я лгу! . .» Чувствуется, что вот-вот начнется та страшная ссора, при которой хочется себя или ее убить». Вот драма пострашнее кровавого преступления Позднышева (хотя в литературе я не знаю столь страшного описания убийства). Муж зарезал жену, его судили, оправдали, жена спит в могиле, он философствует на свободе . . . Были, конечно, в этом ужасные минуты: для Позднышевой — смертельный, животный страх в сцене

убийства и последовавшие затем тяжкие страдания; для Позднышева эти минуты прошли довольно благополучно. Убивая, он испытывал «восторг бешенства» (кто подметил до Толстого этот тонкий оттенок чувства, — не «упоение в бою и бездны мрачной на краю», а восторг бешенства?), затем во время агонии жены сначала курил папиросы, а после заснул и спал два часа. Когда его разбудили, он пошел к жене и там испытал новую радость прощения, то есть это он простил зарезанную жену. — «Подойди, подойди к ней», — говорила мне сестра. «Да, верно, она хочет покаяться», подумал я. «Простить? Да, она умирает и можно простить ее», думал я, стараясь быть великодушным».

Страшный час для Позднышева наступил тогда, когда он увидел жену мертвой: «я понял, что я, я убил ее, что от меня сделалось то, что она была живая, движущаяся, теплая, а теперь стала неподвижная, восковая, холодная, и что поправить этого никогда, нигде, ничем нельзя. Тот, кто не пережил этого, тот не может понять... У! у! у!.. — вскрикнул он несколько раз». Это угрызения совести? Но с угрызениями совести люди живут долгую жизнь. Они весьма часто являются формой бессознательного человеческого кокетства, которому преступники, чтобы себя поднять, отдают полчаса в неделю. Да и какие угрызения могут быть у Позднышева? Он мучится после убийства, как мучился до него: мучить других и себя — его удел в жизни. Но он отлично знает, что не ему вынесен приговор в «Крейцеровой Сонате» или во всяком случае не ему одному; а коллективные приговоры не очень страшны: на миру и моральная смерть красна. Если животно-человеческий инстинкт Позднышева содрогнулся перед превращением «живого, движущегося, теплого» существа в «неподвижную, восковую, холодную» массу, то умом он себя обвиняет не в убийстве: —«Да», — говорит он в самом конце рассказа, — «если б я знал, что я знаю теперь, так бы совсем другое было. Я бы не женился на ней ни за что... и никак не женился бы». Он бы не женился. Вот в чем Позднышев видит свое преступление. «В глубине

души», говорит он в другом месте, описывая начало своей семейной жизни, «я с первых же недель почувствовал, что я пропал . . .»

В «Крейцеровой Сонате» проблема захватывает не только ревность, не только физическую любовь. Знак вопроса поставлен и над тем «духовным» общением, которое навязано двум людям на всю жизнь, от которого им нельзя и некуда уйти: они связаны между собой тяжелой цепью; разорвать ее им мешает случайность закона, деспотизм обычая, сознание долга, привычка или что нибудь еще. Эти люди, быть может, когда-то любили друг друга, но любовь прошла и механически превратилась в равнодушие, во вражду, в ненависть. Проблема истинной свободы, проблема Тютчевского «Silentium» занимает в «Крейцеровой Сонате» полускрытое, но огромное место. Где тут элемент случайности, который из тысячи семей поражает только одну? Однако, жизнь миллионами примеров показывает, что финал «Крейцеровой Сонаты» — сравнительно редкое исключение. Ведь Левин счастлив в своей семейной жизни. Левин, конечно, не Позднышев. «Восторг бешенства» ему знаком, но никогда не доведет его до убийства; Левин эгоист, но не в такой мере; он умен, но не так умен, как Позднышев: у него нет большой аналитической способности, тонкой наблюдательности героя «Крейцеровой Сонаты». Как Левин ни откровенен с самим собой, до Позднышевской откровенности ему все же далеко. Зато у него есть нечто такое, чего нет у Позднышева и что весьма удобно в жизни: он умеет жить механически, отдельно от своей умственной и духовной работы. Левин в эпилоге «Анны Карениной» жадно и страстно ищет религиозного об'яснения жизни и в то же время твердо знает, что «нельзя простить работнику, ушедшему в рабочую пору домой потому, что у него отец умер — как ни жалко его, — и надо расчесть его дешевле за прогульные дорогие месяцы» (IX, 301). У Позднышева этого нет. Он не может одновременно ненавидеть свою жену и механически с нею благоденствовать долгий век. Да и долго ли продлится счастье Левина? Кто знает, что ждет

его в будущем? Занавес опускается над ним очень рано; несколько лет и Позднышев прожил со своей женой. Как мы узнаем из последней части «Анны Карениной», «счастливый семьянин, здоровый человек, Левин был несколько раз так близок к самоубийству, что спрятал шнурок, чтобы не повеситься на нем, и боялся ходить с ружьем, чтобы не застрелиться». Позднышев, напротив, не помышляет о самоубийстве, зарезав жену: «Я знал», рассказывает он, «что я не убью себя... Помню, как прежде много раз я был близок к самоубийству, как в тот день даже на железной дороге мне это легко казалось, легко именно потому, что я думал, как я этим поражу ее. Теперь я никак не мог не только убить себя, но и подумать об этом. «Зачем я это сделаю?» спросил я себя, и ответа не было». Колодник, только что освободившийся от цепей, не кончает самоубийством, что бы его ни ожидало. Религиозные сомнения, доводившие Левина до запрятывания шнурка и ружья, сравнительно с Позднышевским сомнением кажутся чистым ребячеством. Но Позднышев — Bösen Geistern übergeben und der richtenden gefühllosen Menschheit — не кончит самоубийством, несмотря на сомнения, на позор, на суд, на угрызения совести; по крайней мере, до тех пор не кончит, пока не расскажет людям повесть «Крейцеровой Сонаты». Да и после этого он, вероятно, еще долго будет занят, ибо сомнения, как несчастья, «ходят батальонами». Позднышеву есть над чем подумать и есть что рассказать. Он уже не свой; он принадлежит демону Байрона. Ему суждено испытать на себе изречение Карла Крауза: «Qual des Lebens, — Lust des Denkens».

Как фокусник парижского cabaret поступает с человеческим телом, так Толстой поступил с человеческой любовью. В цветущем, прекрасном теле и в разлагающемся, безобразном трупе, — в идиллии Левина с Кити и в мрачной трагедии Позднышевых, мы узнаем одне и те же черты. Пусть Левин разрешит благополучно свои религиозные сомнения и приобретет возможность смотреть со спокойным сердцем на шнурок и заряженное ружье; пусть даже сохранится в нем нежное чувство к ма-

тери его сына, — что это докажет? То ли, что у Левина и Кити было «единство идеалов», которого не доставало Позднышевым? Какие же идеалы у Кити? Если Левин «счастливо» проживет с ней свой век, то это будет лишь означать, что ему и в дальнейшем не изменила способность механической жизни, независимой от ума и каких бы то ни было исканий. Вообще Толстой чудесно описывал блаженный сумбур влюбленных (эта тема затропута, кроме «Анны Карениной», в «Войне и Мире», в «Семейном счастии», в «После бала»), но на идиллии библейских патриархов он не любил пробовать свою художественную силу . . .

«Il y a de bons mariages, mais il n'y en a point de délicieux», говорил Ларошфуко, имевший опыт в этого рода делах. Но если вглядеться в художественный материал, оставленный по данному вопросу Толстым, то мы увидим, что последний еще пессимистичнее, чем счастливый любовник четырех очаровательнейших женщин 17-го века. У Толстого и хороших браков нет, не говоря уже о чудесных. У него чудесным оказывается только начало, а продолжение либо трагично, как в «Крейцеровой Сонате», в «Дьяволе», во «Власти тьмы», либо тоскливо и нудно до умопомешательства, как в истории Ивана Ильича, либо вовсе нет продолжения, а есть длинная серия новых начал без концов, как у Облонских, Курагиных, Тверских и т. д. Счастливы в своей семейной жизни бывают у Толстого только очень ограниченные люди, вроде Ильи и Николая Ростовых, вроде Альфонса Карловича Берга. Быть может, единственным исключением оказывается в своем втором браке Пьер Безухов, которому Толстой дает в удел Наташу Ростову, самый поэтичный и пленительный из созданных им женских образов. Да и то идиллия Пьера и Наташи в эпилоге застилается мало поэтичной пеленкой с желтым пятном. О том же, что бы случилось, если б Наташа вышла замуж за князя Андрея, которого трудно себе представить «не смеющим», как Пьер, уезжать, расходовать деньги, обедать вне дома без согласия жены и т. д., нельзя и подумать без страха. Это наверное был бы ад.

Анне Карениной отмщение воздавалось за то, что она сорвала с себя цепи брака. Позднышевым оно воздается за то, что они надели на себя эти цепи. Но не одно человеческое учреждение привлечено Толстым к ответу. Позднышевщина гораздо больше, чем явление социального порядка. Она — вне пространства[1]), а может быть, и вне времени. В нем сделан вызов институтам природы, вечным, бессмысленным, неизменным. «Естественно есть», говорить Позднышев, «и есть радостно, легко, приятно и не стыдно с самого начала; здесь же и мерзко, и стыдно, и больно. Нет, это неестественно! И девушка неиспорченная, я убедился, всегда ненавидит это»... В «Послесловии» к «Крейцеровой Сонате» Толстой усиленно пытался придать своей книге характер, менее явно враждебный природе. Напрасные старания. Да и все «Послесловие» слабо, неубедительно. Его мысль тоже — «одно из миллионов соображений, которые все были бы верны», и даже меньше этого. Стоит сопоставить «Крейцерову Сонату» и «Послесловие», чтобы с необыкновенной ясностью почувствовать то, что Герц чувствовал, изучая формулы Максвелля: в художественном произведении есть самостоятельная жизнь и не во власти автора ограничить смысл удивительной книги проповедью добрачного целомудрия. А дальше этого моралист «Послесловия» идет очень неохотно, сопровождая каждый шаг оговорками: — «... вместо того, чтобы вступать в брак для произведения детских жизней», — говорит Толстой, — «гораздо проще поддерживать и спасать те миллионы детских жизней, которые гибнут вокруг нас от недостатка, не говорю уже духовной, но материальной пищи». Здесь софизм очевиден и нам ясно, что в своем крайнем выводе эта теория должна привести либо к старой Платоно-Ренановской шутке, где кучка совершенных мудрецов управляет миллионами людей, живущих в полускотском состоянии (то есть к тому, что более всего другого было всегда ненавистно Толстому), либо к дурному, не-

[1]) Недаром из всех произведений Толстого «Крейцерова Соната» имела на Западе самый шумный успех.

искреннему варианту этой утопии — к католицизму клерикальных доктринеров, либо, наконец, к уничтожению человеческого рода. Но философ не мог согласиться на этот последний вывод, который составляет плохо затаенную суть Позднышевщины. Между героем «Крейцеровой Сонаты» и моралистом «Послесловия» — глубокая пропасть: первый безнадежно бьется головой о глухую стену неизменимого; второй заслоняет эту стену от чужих и своих собственных глаз тощим кодексом клэрджимена.

V

Тому, кто поставил себе задачей критику установлений природы, разумеется, не грозит недостаток тем. В «Крейцеровой Сонате» Толстой гневно остановился перед началом человеческой жизни; ее концом он занимался гораздо больше. Вот небольшая и не претендующая на полноту коллекция материалов, взятая по этому вопросу в книгах Л. Н. Толстого.

Смерть от удара (граф Кирилл Безухов, Николай Андреевич Болконский). Смерть от чахотки (Николай Левин, барыня в «Трех Смертях»). Смерть от родов (княгиня Болконская). Смерть от ушиба (Иван Ильич). Смерть от жары (арестант в «Воскресеньи»). Смерть от холода (Василий Брехунов). Самоубийство посредством выстрела (Нехлюдов в «Записках маркера»). Самоубийство посредством повешения (Меженецкий). Самоубийство под колесами поезда (Анна Каренина). Убийство в рукопашной схватке (Хаджи-Мурат). Убийство в сражении (Болконский, Курагин и др.). Убийство по суду Линча (Верещагин). Расстрел (пленные русские в «Войне и Мире»). Виселица (Светлогуб, Лозинский и Розовский в «Воскресеньи»). Задушение (ребенок во «Власти тьмы»). Отравление (купец Смельков). Смерть лошади (Холстомер). Смерть дерева («Три смерти»). Смерть цветка (вступление к «Хаджи-Мурату»).

Одни герои Толстого умирают без сознания, как граф Безухов, или не успевши ахнуть, как Петя Ростов. Эти

счастливцы, разумеется, в счет не идут. Другие, большинство, умирают тяжело, в физической муке, без нравственного примирения.

Князю Анатолю Курагину «несколько человек фельдшеров навалились на грудь и держали его. Белая, большая, полная нога быстро и часто, не переставая, дергалась лихорадочными трепетаниями. Человек этот судорожно рыдал и захлебывался. Два доктора молча — один был бледен и дрожал — что-то делали над другой красной ногой этого человека... — «Покажите мне!.. Ооооо! о! ооооо!» — слышался его прерываемый рыданиями, испуганный и покорившийся страданию стон»... Николай Левин перед смертью, по собственным словам, «страдал ужасно, невыносимо»; мучения положили такую печать на его лицо, что, войдя в его комнату, Константин Левин думал: «Не может быть, чтоб это страшное тело был брат Николай»... Старый князь Болконский три недели «лежал, как изуродованный труп. Он не переставая бормотал что-то, дергаясь бровями и губами, и нельзя было знать, понимал он или нет то, что его окружало. Одно можно было знать наверное — это то, что он страдал». Картина смерти нисколько не изменяется, когда мы спускаемся от этих взрослых людей вниз по лестнице сознательной жизни. Ребенок, которого Никита, по словам Матрены, «в блин расплющил», так же не хочет умирать, как Анатоль Курагин, и выражает свою инстинктивную жажду жизни пронзительным писком, потрясающим душу Никиты. Куст «татарина» столь же упорно борется со смертью, как Хаджи-Мурат. Мудрость Толстого проникает в скрытые глубины жизни и отыскивает сознание там, где мы видим лишь слепой процесс неодушевленных химических сил.

Для чего же собран этот огромный художественный материал, которому равного по богатству не дал ни один писатель мира? Если мыслимо создать философию смерти, ее должен был бы создать Толстой. Но он не воспользовался для этических обобщений всеми богатствами своей сокровищницы. Толстой-моралист не обмолвился ни единым зву-

ком ни о разорванном бомбой Курагине, ни о зарезанной мужем Позднышевой, ни о барыне, которую из'ела чахотка. Художник провел их через свою лабораторию, пытливо вглядываясь в умирающих, точно верный завету Кювье: nommer, classer, décrire. Описана красная нога Анатоля, с граммофонной точностью переданы его «ооо!» и «ооооо!», сфотографированы легкие барыни и прорезанный бок Позднышевой, — больше не дается ничего. Естествоиспытатель сделал свое дело. Философ прошел мимо. Но идейный корабль не вполне надежен, если таит в себе такую брешь. Ее необходимо было заткнуть, чтобы оправдать все толстовство, и для этой цели предназначалась «Смерть Ивана Ильича».

Толстой приложил много усилий к тому, чтобы сделать героя своей повести возможно более безличным. Иван Ильич (даже имя выбрано самое банальное) — добрый отец семейства, порядочный муж, хороший товарищ, исполнительный чиновник, а в общем — никто. Все, что с ним происходит в жизни, — самое банальное, что только может произойти с человеком. Он учится и служит как большинство, то есть скорее хорошо, чем дурно; затем женится и воспитывает детей тоже как большинство, то есть скорее дурно, чем хорошо. Заболевает он какой-то неопределенной болезнью не в ранней молодости и не в глубокой старости, а на пятом десятке. Он долго мучится, много лечится, не раз переходит от надежды к отчаянию и обратно, наконец, причащается и умирает. Вот и весь сказ... Иртенев, Нехлюдов, Безухов, Болконский, Левин, Позднышев — выдающиеся люди, и судьба их во всяком случае не совсем обычная. В «Смерти Ивана Ильича» Толстой единственный раз в жизни изобразил совершенно банальным главное действующее лицо. Разумеется, это сделано было умышленно. Банальность видимого героя повести оттеняет величие ее истинного героя: в «Смерти Ивана Ильича» дело не в Иване Ильиче, а в Смерти. Толстой хотел одним ударом, на самом общем случае, раз навсегда разрешить основную проблему человеческого существования.

В этом решительном сражении естественно развернулся во-всю колоссальный талант великого русского писателя. Он хотел изобразить умирание возможно более страшным, и это удалось ему в совершенстве. Нельзя сильнее передать ужас и одиночество человека перед лицом ожидающей его смерти. Иван Ильич видит, что его «ближним» нет до него никакого дела. Жена и дочь, сами этого не замечая, с грустными лицами разыгрывают над умирающим (как позже над трупом) утонченную, привычную комедию скорби; ближайшие друзья, вздыхая, отправляются играть в винт из дома, пораженного смертью; доктор, «свежий, бодрый, жирный, веселый», входит к больному и «Иван Ильич чувствует, что доктору хочется сказать: «как делишки?» но что и он чувствует, что так нельзя говорить, и говорит: «как вы провели ночь?» «Nos semblables ne nous aideront pas, on mourra seul», своим зловещим, «успокоительным» тоном говорил «безбожникам» Паскаль. «Смерть Ивана Ильича» — гениальная художественная иллюстрация к этим страшным словам. Иллюстрация, пожалуй, не нова: когда умирал Николай Левин, все (то есть брат его, любовница, свояченица) «одного только желали, чтоб он как можно скорее умер, и все, скрывая это, давали ему из стклянки лекарства, искали лекарства, докторов и обманывали его, и себя, и друг друга». Держа в своей руке руку умирающего брата, Левин «вовсе не думал о смерти. Он думал о том, что делает Кити, кто живет в соседнем номере, свой ли дом у доктора... Ему захотелось есть и спать». Только прежде обо всем этом говорилось вскользь, несколькими строчками, и за смерть брата Левин, а с ним и читатель, сейчас же получал компенсацию в виде беременности Кити. Иван Ильич, как Позднышев, только расставил точки на многозначительных «и» прежних произведений Л. Н. Толстого. Он никого не винит или, по крайней мере, не хочет никого винить: он знает, что все это не может быть иначе, что живые не могут понять мертвых, а умирающие — живых. Он только спрашивает себя: «зачем, за что весь этот ужас?»

Толстой-моралист принял на себя обязанность ответить на вопрос Ивана Ильича. Его цель ведь заключалась в том, чтобы сначала напугать людей, а потом примирить их со смертью. Первая часть задачи удалась ему слишком хорошо: Толстой умел пугать, когда хотел. «Смерть Ивана Ильича» вряд ли не самое общечеловеческое произведение всего современного искусства[1]). Ром. Роллан рассказывает, что ему приходилось слышать, как мирные обыватели французской провинции, стоящие очень далеко от искусства и почти ничего не читающие, отзывались о «Смерти Ивана Ильича» с глубоким волнением (avec une émotion concentrée). Волшебной силой искусства гениальный русский граф и простые люди другого народа об'единились в общем настроении, «заразились», как любил говорить Толстой, общей лихорадкой томительного, смертельного страха. Но для чего же так напугал французских провинциалов автор «Смерти Ивана Ильича»?

Толстой обещает за страхом успокоение. Ведь его повесть, как трагическая поэма Иова, имеет свой всем известный happy end. Гениальный архитектор одним движением руки перебросил мост между ужасной мукой Ивана Ильича и его безнравственной жизнью. Стоит ему раскаяться в безнравственной жизни и «то, что томило его и не выходило . . . вдруг все выходит сразу, и с двух сторон, с десяти сторон, со всех сторон», и смерти нет — «вместо смерти был свет», и даже боль перестает быть болью. «Ну, что ж, пускай боль», говорит Иван Ильич, который до раскаяния три дня, не умолкая, кричал так, «что нельзя было за двумя дверями без ужаса слышать его». Я понимаю, что тут художник смело хочет проникнуть в тайны загадочного психофизического явления. Я готов даже в е р и т ь в возможность гениальной интуиции Толстого. В эту таинственную дверь нас пускают по одиночке и каждый че-

[1]) Рескин перечисляет где-то ряд книг, которые необходимы нам всем (some books which we all need). В этот список английский мыслитель, кстати сказать, включал Геродота и поэта Спенсера! Каждая строчка Л. Н. Толстого должна была бы по справедливости занять место в таком списке.

ловек производит только один опыт, о котором другие не узнают. Признаюсь однако, что божественная природа Толстовского гения для меня больше, чем обычная литературная метафора. Я готов верить, что этот человек мог постигнуть внеопытное, он мог угадать то, что людям знать не дано. Но если интуиция художника оказывается как нельзя более подходящей к его излюбленной моральной идее и даже для нее необходимой, я инстинктивно начинаю сомневаться. А если, опираясь на интуицию, философ хочет перебросить мост там, где перебросить его запрещают факты и логика, — то уж не может быть сомнений: ясно, что и мост, и уверенно ходящий на нем моралист должны оборваться per inane profundum.

Ивану Ильичу мешала спокойно умереть несознанная им безнравственность его жизни, вернее, даже не безнравственность, а отсутствие истинного религиозного миропонимания, то есть толстовского христианства. Да мало ли что мешает человеку встретить спокойно смерть и — обратно — мало ли что дает ему на это силы? Тот же Ларошфуко, по сравнению с грехами которого грехи безнравственного Ивана Ильича вызывают невольную улыбку[1], умер с философским спокойствием, достойным святейшего из святых отшельников. «Je ne crains guère de choses, et ne crains aucunement la mort», говорит он в своем автопортрете, и рассказ о его смерти, оставленный г-жей Севинье, свидетельствует о том, что прославленный скептик не преувеличивал своей нравственной силы. Религия самоотречения в данном случае отнюдь не обязательна. Эпикур, которого не любил Толстой, считавший его по шаблону чем-то вроде Стивы Облонского или даже Санина[2], умер не только красиво, но хорошо с точки зрения толстовского христианства,

[1]) «Je ne saurais plus que faire quand je ne ferai plus de mal», писал Ларошфуко в 1652 г.

[2]) Какому-то гимназисту, который излагал Льву Николаевичу идеи романа г. Арцыбашева, Толстой (впрочем, не читавший тогда еще «Санина»), нимало не задумываясь, ответил: «Наверное, Эпикур это гораздо лучше выражал» . . . (Гусев. Два года с Л. Н. Толстым, стр. 170).

хотя принципы последнего, как известно, не входили в программу эллинского мудреца. А Эпикура вдобавок терзали страдания, не уступавшие мукам Ивана Ильича[1]). Да что Ларошфуко, Эпикур! — мысль ведь сама по себе есть религия, — обыкновенный душегуб, с помоста гильотины спокойно советовавший толпе: n'avouez jamais, безыдейные бандиты, вроде Бонно и Гарнье, перед лицом смерти сплошь и рядом обнаруживают совершенное бесстрашие, до которого весьма далеко многим верующим людям. Мы не можем проникнуть в тайны того, что составляет природу нервной силы, и не имеем никакого права подставлять под этот икс наши этические схемы, как бы они ни казались нам убедительными. А Толстовская схема вдобавок не только не убедительна, она непонятна.

Иван Ильич, как Иов, в последний момент спасается чудесной силой веры. Но Иову за веру дается награда в этом мире в форме тех же осязательных материальных благ, которых зачем-то лишила его таинственная воля Иеговы. Иван Ильич в здешнем мире не получает никакой награды, а о мире потустороннем Толстой говорил мало и неохотно. «О загробной жизни», замечает он, впрочем, весьма определенно, «мы знаем то, что она существует». Это очень утешительно. Но дальше такого утверждения Толстой не пошел: его инстинкт реалиста, конечно, исключал воз-

---

[1]) Об этом свидетельствует его знаменитое прощальное письмо: «Эпикур Эрмарху привет. Я пишу тебе в счастливый день, — последний день моей жизни. Меня томит такое мучение, которого не может увеличить ничто. Но, борясь со страданиями тела, я провожу в уме радостное воспоминание о моих открытиях. Ты же, чтобы лишний раз показать свою давнюю любовь ко мне и к философии, возьми на себя заботу о детях нашего друга Метродора». — «Он умер», говорит Гюйо, «улыбаясь, как Сократ, но с той разницей, что последний лелеял прекрасную мечту о бессмертии и, отвернувшись глазами от жизни, видел в смерти лишь выздоровление. Эпикур же скончался, вперив лицо в существование, которое он покидал, собирая в памяти всю свою жизнь и противопоставляя ее близящейся смерти. В его мысли как бы запечатлелся последний образ прошлого; он смотрел на него с благодарностью, без сожаления, без надежды. Потом все сразу исчезло, — прошлое, настоящее, будущее, — и он почил в вечном уничтожении». (M. Guyau. La Morale d'Épicure. 4-me édition, p. 120).

можность конкретных образов Данте. Мне представляется, что в «Смерти Ивана Ильича» Толстой, как философ, долго идет по стопам своего любимого мудреца Паскаля, но расстается с ним в самый важный момент. Образ, которым глубоко проникся Толстой: «мы все приговорены к смерти и наша казнь только отсрочена» — был заимствован Амиелем у Паскаля. Да и вся повесть Ивана Ильича, вплоть до момента его раскаяния, это гениальное запугиванье смертью, отдает Паскалем за версту. Только форма другая: вместо вихря пламенного красноречия, вместо потока образов, исполненных мрачной поэзии, вместо потрясающих сопоставлений, которые с таким необычайным мастерством умел пускать в ход Паскаль, Толстой просто, правдиво рисует картину человеческого умирания. Одно стоит другого и я не берусь сказать, что страшнее. Но в Паскале гораздо больше сказывается опытный ловец душ, проповедник, ставящий себе цели прозелитизма. Толстой пишет главным образом для самого себя; Паскаль — почти исключительно для других. Толстой — сама искренность в каждом своем слове; Паскаль весьма часто различает цель и средства: вечно воюя с иезуитами, он кое-чему у них научился. В одном месте своей бессмертной книги (которая, как известно, появилась в свет после его кончины и была подготовлена к печати не им), он замечает очень откровенно: «надо всегда иметь заднюю мысль (une pensée de derrière) и по ней судить обо всем, говоря, однако, как люди (comme le peuple)». Эту заднюю мысль мы постоянно и чувствуем. Желая напугать безбожников, зараженных Монтэневским ядом (ведь с Монтэнем автор «Мыслей» сражается на каждой странице, хотя редко его называет), Паскаль не останавливается в выборе средств пугания. Он грозит «безбожникам» тем, что их неверие не сыщет им уважения «светских людей, которые здраво судят о вещах и знают, что единственный способ достигнуть успеха (réussir) это быть (в подлиннике осторожнее: paraître) честным, верным, справедливым, услужливым в отношении друзей». Вот типичный образчик того, как Паскаль говорит «comme le peuple». Он сам в эпоху «Мыслей» так

мало интересовался светскими людьми (les personnes du monde) и их уважением, что для него этот аргумент не мог иметь ни малейшей цены или скорее говорил в пользу противоположного взгляда [1]). Он к тому же отлично знал, что быть «честным, верным, справедливым» не единственный способ для достижения успеха в жизни. Когда прославленный английский философ пространно развивает ту тему, что чистильщик сапог может быть джентльменом, но человек, совершивший неблаговидный поступок, не джентльмен, мы нисколько не удивляемся. Правда, мы отлично знаем, что философ имел в виду то самое фешенебельное общество, в котором не только нельзя быть джентльменом, занимаясь чисткой сапог, но нельзя остаться им, явившись на званый обед в пиджаке вместо принятого костюма, — и, напротив, отлично можно быть джентльменом, торгуя опиумом, спекулируя на Lena Goldfields и замучивая негров на колониальных плантациях. Но мы также давно знаем, что для английского философа принцип Honesty — best policy, проникнутый чисто-британской смесью наивности с застарелым cant'ом и тщетно сторонящийся от своего естественного русского дополнения «не пойман — не вор», выражает, кроме категории должного, категорию сущего. Однако для Паскаля не может быть фикции светского джентльменства; в его устах рассуждение, «как пробить себе дорогу в свете», звучит нестерпимым диссонансом.

Задняя мысль всей книги Паскаля заключалась в том, чтобы «нагнуть автомат, который увлекает ум без размышления» («incliner l'automate qui entraîne l'esprit sans qu'il y pense»). На этой задней мысли покоятся все догматические религии, да и толстовству она в сущности не совсем чужда. Но все же автор «Критики догматического богословия» не решился бы скрепить своим именем религию автомата. Знаменитый довод, которым «раз навсегда» должен проникнуться автомат, — Паскалевское «пари», — вряд-ли бы понравился Толстому; и уж совер-

---

[1]) «Il temoigna si bien qu'il voulait quitter le monde qu'enfin le monde le quitta», рассказывает о своем брате г-жа Перье («Vie de Blaise Pascal»).

шенно ему чужды не менее знаменитые выводы из этого аргумента: «Vous voulez aller à la foi et vous n'en savez pas le chemin: vous voulez vous guérir de l'infidélité, et vous en demandez les remèdes: apprenez de ceux qui ont été liés comme vous et qui parient maintenant tout leur bien; ce sont gens qui savent ce chemin que vous voudriez suivre, et guéris d'un mal dont vous voulez guérir. Suivez la manière par où ils ont commencé; c'est en faisant tout comme s'ils croyaient, en prenant de l'eau bénite, en faisant dire les messes, etc. *Naturellement même cela vous fera croire et vous abêtira.* — Mais c'est ce que je crains. — Et pourquoi? qu'avez vous à perdre?» [1]). Эта идея неотделима от Паскаля, что бы ни говорили набожные люди, которым очень хочется сделать из автора «Мыслей» второй экземпляр Боссюэта или, еще лучше, предтечу Поля Бурже. Но для Толстого данное наставление означает то, на борьбу с чем он потратил тридцать последних лет своей жизни. Здесь он вынужден ре-

[1]) Известно, что первые издатели «Мыслей», янсенисты Port Royal'я, скандализованные этой двусмысленной фразой («cela vous abêtira»), предпочли выпустить ее из своего издания. Она была разыскана Кузеном в знаменитом манускрипте № 9202 Национальной Библиотеки и появление ее в печати подлило масла в огонь полемики по вопросу о вере или неверии Паскаля. Этим вопросом занимался ряд самых выдающихся писателей Франции. Называю только часть его огромной литературы:

P. Bayle. Nouvelles de la République des lettres. Oeuvres diverses (La Haye 1737), t. I.

Voltaire. Remarques sur les «Pensées» de Pascal. Oeuvres (édit. Beuchot), t. 37 et 50

Diderot. Pensées philosophiques. Oeuvres complètes (Paris 1870), vol. I.

Chateaubriand. Génie du christianisme, III, 26. Oeuvres (Paris 1831), t. 5.

V. Cousin. Histoire générale de la philosophie, 10-me édit. и друг. раб.

Sainte-Beuve. Port-Royal, vol. III.

Anatole France. La vie littéraire, vol. IV.

Nourrison. Défense de Pascal. Paris 1888.

E. Boutroux. Pascal. 4-me édition.

Droz. Le scepticisme de Pascal.

V. Giraud. Blaise Pascal. 1910.

шительно порвать с Паскалем. Однако, взамен идеи пари он не дает ничего.

Автор книги Иова щедро дарит своему герою в награду за веру 140 лет жизни, 10 душ детей, 14 тысяч овец и 6 тысяч верблюдов, тысячу пар быков и тысячу ослиц. Это, может быть, грубо, но вполне понятно. Паскаль останавливается на полпути: промучив читателя зрелищем грозящей ему казни, он становится мягче и начинает говорить о бессмертии. Последнее, правда, не гарантировано, но оно так вероятно, что всякий разумный человек должен держать пари, благо он ничего не теряет. Конечно, можно предложить Паскалю вопрос, который он сам ставит в другом месте своей книги по совершенно иному поводу: «Est-il probable que la probabilité assure?» Конечно, можно сказать, что и при беспроигрышном пари исход из этого мира, где многим живется недурно, есть все-же насильственное изгнание: Паскаль не имеет власти помиловать человечество; в лучшем случае он заменяет ему казнь вечной ссылкой. Но это все таки — что нибудь. Толстой и этого не обещает. Он говорит: «Любовь есть отрицание смерти, любовь — жизнь, любовь — Бог, и смерть означает возвращение частицы любви, — моего я, к ее вечному и всеобщему источнику». Это превышает способность нашего понимания. Человек страдал, человек умер. Частица любви вернулась к вечному источнику. Смерть могла быть безболезненной, умирающий мог бы и не прозреть, как прозрел Иван Ильич, — что бы это изменило? Частица любви вернулась бы туда же. Но если так, если моралист не может нам предложить ничего лучше возвращения частицы любви к вечному, всеобщему источнику, то напрасно художник рисовал такую страшную картину. Не всякий скажет: «какая радость!» с несчастным Иваном Ильичем, безжалостно принесенным в жертву непонятной для нас идее; не всякий умилится перед la gentilezza del morir, открывающейся у двери гроба, и напрасно говорил Толстой каждой строчкой своей повести: придите ко мне вы, спокойные и довольные, — я расстрою вас.

Такие призывы бывают полезны, когда речь идет о том, что находится во власти рук человеческих. Но в противном случае мы говорим с недоумением: «что и жалеть, коли нечем помочь». А тем более — «что и пугать» . . . Люди живут in hac lacrimarum valle не потому, что им очень весело, приятно или спокойно. А просто — торопиться некуда, умереть не поздно никогда: мы все успеем належаться в червивой могиле. К тому же, не всякого удается запугать. Например, Вольтер, который терпеть не мог Паскаля, стоя одной ногой в могиле, отвечал на его запугивания следующей забавной тирадой:

«Я приезжаю из провинции в Париж, меня проводят в прекрасный зал, где тысяча двести человек слушают очаровательную музыку. Затем общество, разделившись на небольшие группы, отправляется ужинать, а после очень хорошего ужина не совсем неприятно проводит ночь. В этом городе в чести искусство, хорошо вознаграждаются отталкивающие ремесла, очень облегчены болезни, предупреждены несчастные случаи. Все наслаждаются жизнью, надеются наслаждаться, работают, чтобы наслаждаться позже, — последняя доля отнюдь не самая плохая. Зная все это, я говорю Паскалю: «Мой великий человек, да вы с ума сошли!»[1]).

35-летний «счастливец» Левин (так называет его Степан Аркадьевич) ночью с ужасом всматривается в зеркало, с волнением производит смотр седым волосам, зубам, мускулам, хотя он, быть может, и не читал никогда Паскаля. 82-летний Вольтер, прочтя о «людях, приговоренных к смертной казни», об «узниках, закованных в цепи», преспокойно переносится мыслью к очень хорошим ужинам и приятно проведенным ночам. Здесь обычное затруднение внелогичного: кроме инстинктивного «с одной стороны», есть инстинктивное «с другой стороны» и, конечно, пропорция обеих «сторон» каждым человеком находится самостоятельно, в зависимости от тысячи самых различных обстоятельств порядка внешнего и особенно

[1]) Voltaire. Dernières remarques sur les «Pensées» de Pascal. (1778). Oeuvres, t. 50, p. 375.

внутреннего. Прокаженный нищий Иов — оптимист; царь Соломон, утопавший в славе и богатстве, имевший семьсот жен и триста наложниц, — пессимист. Эти два типа людей не только не понимают, но глубоко презирают друг друга. Вольтер совершенно серьезно считал Паскаля сумасшедшим и даже придумал для его душевной болезни об'яснение полумедицинского характера [1]. Толстой о Тютчеве (впрочем, не принадлежавшем к чисто-Вольтеровскому типу людей) говорил, не задумываясь, следующее: «когда старик Тютчев, у которого песок... сыплется, влюбляется и описывает это в стихах, то это только отвратительно!.. Это как сегодня был у меня посетитель: говорит о религии, о Боге, а я вижу, что ему водки выпить хочется»... [2]. Здесь логике нечего делать, так как перед нами больше, чем спор двух мировоззрений: точно говорят существа, отличные друг от друга по природе. И невольно в памяти встает изречение современного мыслителя: «Qu'est ce qu'une doctrine, sinon la traduction verbale d'une physiologie?»

VI

От «Смерти Ивана Ильича» переход к «Хаджи-Мурату» кажется несколько странным. Между этими двумя произведениями, которые разделены десятилетним промежутком времени, пропасть еще глубже, чем между «Анной Карениной» и «Крейцеровой Сонатой». Толстой создал поэму жизни после поэмы смерти! Он писал «Хаджи-Мурата» очень долго. Черновой список повести закончен 14-го августа 1896 г., но, как свидетельствуют выдержки из дневника Льва Николаевича, приводимые в издании графини А. Л. Толстой, автор думал и работал над этим своим произведением в 1897, 1898, 1901, 1902, 1903 и 1904 году. Так долго Толстой не вынашивал ни «Войны и Мира», ни «Анны Карениной»; а между тем, вся повесть занимает ме-

[1]) Voltaire. Lettre à M. de s'Gravesende. Oeuvres, t. 54, p. 350.
[2]) В. Ф. Булгаков. У Л. Н. Толстого, стр. 133.

нее десяти печатных листов. В конце концов, Толстой так-таки бросил «Хаджи-Мурата», который, как известно, появился лишь в посмертном издании. Легко понять эти мучительные колебания великого писателя. Логическая концепция «Хаджи-Мурата» совершенно не вязалась с толстовским учением, а напротив, решительно шла с ним вразрез; при всем желании Толстой не мог подогнать эту прекрасную поэму ни под один из своих любимых моральных догматов. Я говорю: при всем желании. В своем дневнике (от 4 апреля 1897 г.) Лев Николаевич пишет: «Вчера думал очень хорошо о Хаджи-Мурате, — о том, что в нем, главное, надо выразить обман веры. Как он был бы хорош, если бы не этот обман». Приходится заключить, что главного Толстой не сделал: обмана веры в его повести нет, потому что и веры, в сущности, нет никакой. Хаджи-Мурат до последней минуты строго придерживается религиозных обрядов, аккуратно прочитывает молитвы, совершает намаз. Но если отвлечься от обрядовой стороны жизни, то он, конечно, не имеет никакой религии. Хаджи-Мурат — не более религиозная натура, чем Лукашка в «Казаках» или Долохов в «Войне и Мире».

«Как он был бы хорош, если бы не этот обман». Чем-же он был бы хорош? Признаюсь, мне чрезвычайно трудно представить себе Хаджи-Мурата толстовцем или заметить в нем хотя бы зачатки идей религиозного самоотречения. Это Наполеон, перенесенный в обстановку, где людям легче и естественнее быть Наполеонами, где для этого не нужно шагать ни через будуар Жозефины, ни через подготовительную кухню 18 брюмера[1]). Если употребить известное сравнение Тэна, Хаджи-Мурат — чистый кондотьер, и, как кондотьер, он, быть может, даже типичнее Наполеона, благо существует некоторая разница

[1]) Перед государственным переворотом Наполеон одновременно вел тайные переговоры со своими «товарищами» по заговору, с якобинцами, с приверженцами Лафайета, с агентами Бурбонов, одним словом, с кем угодно. «Самые различные партии», — рассказывает Альберт Вандаль, «возлагали на него надежды . . ., а он всеми ими пользовался и всех обманывал ради пользы Франции и собственного честолюбия; и это колоссальное недоразумение . . ., как волна, несло его к власти».

между аулами Кавказа и парижскими дворцами. Какова бы ни была настоящая натура Бонапарта, условия места и времени связывают его по рукам и ногам. Он должен отпускать каламбуры госпоже Сталь, говорить исторические фразы, спорить о геометрии с Монжем, кокетничать с Шатобрианом и Гете. Хаджи-Мурату это совершенно не нужно. Шашка и темперамент одни сделают его цезарем дюжины чеченских аулов. Он верен себе в своей свирепости и в своей детской улыбке, в наивно-хитрой дипломатии и в традиционной верности кунакам. Основное и доминирующее его свойство — неукротимая энергия, что автор подчеркнул красивым образом вступления. Хаджи-Мурат, как куст татарина, отстаивает жизнь до последнего вздоха. Можно, конечно, думать о том, «как бы он был хорош», если б эта неукротимая энергия ушла не наружу, на вражду к Ахметханам и Шамилям, а обратилась внутрь, на борьбу со страстями и с грехом. Но тогда Хаджи-Мурат не был бы Хаджи-Муратом. Всякие мечтания на тему о том, что в другое время, в другой среде, в других условиях жизни такой-то человек был бы совсем, совсем другим, не далеко ушли от польской поговорки: «если бы у тети были усы, так был бы дядя». Мы не можем себе представить Печорина народным учителем или Андрея Болконского земским врачем и не имеем никакой возможности решить вопрос, что Печорины станут делать в то время, когда им нельзя будет быть Печориными...

Хаджи-Мурат неотделим от той поэтической обстановки, в которой вывел его Толстой. Стоит мысленно применить к нему наши европейские критерии и мы принуждены будем осыпать его бранью. Он — политический ренегат, многократный изменник, он, если угодно, даже провокатор. Любопытно, что европейский критерий приложил к нему сам Толстой, задолго до того как стал писать свою повесть, и даже раньше, чем вступил на путь литературной деятельности. Это было в 1851 г. Лев Николаевич в письме сообщал своему брату: «ежели хочешь щегольнуть известиями с Кавказа, то можешь рассказывать, что второе лицо после Шамиля, некто Хаджи-Мурат, на-днях пере-

дался русскому правительству. Это был первый лихач (джигит) и молодец во всей Чечне, а с д е л а л п о д л о с т ь». Если, читая поэму Толстого, мы не только не чувствуем отвращения к подлости, а, напротив, любуемся необузданным героем Чечни, то это лишь означает, что Толстой — гениальный исторический романист и распоряжается симпатиями читателя, как хочет, легко перенося его в атмосферу каких угодно этических понятий. Впрочем, раза два на протяжении повести автор нерешительно отмечает в Хаджи-Мурате такие черты, которые и с точки зрения толстовства составляют моральный плюс. Так, например, на вечере у князя Воронцова, где «молодые и не совсем молодые женщины в одеждах, обнажавших и шеи, и руки, и груди, кружились в об'ятьях мужчин», Хаджи-Мурат испытывал чувство, близкое к отвращению. В данном случае кавказский джигит оказывается, повидимому, единомышленником Позднышева; но, разумеется, только повидимому. С точки зрения «Крейцеровой Сонаты», восточное узаконенное многоженство не хуже, но и не лучше, чем европейское многоженство, черпающее силу в обычном праве; гарем не имеет больших преимуществ перед веселым домом.

В сущности, единственное, чем Толстой законно мог восхищаться в Хаджи-Мурате, это его простота, первобытные и близкие к природе условия его обычной жизни, особенно подчеркнутые сопоставлением с роскошной праздной жизнью князей Воронцовых и петербургской придворной знати. Здесь Толстой лишний раз развил свою любимую тему, использованную в «Казаках», в «Анне Карениной», в «Воскресеньи», в «Плодах Просвещенья». Однако, простота у Хаджи-Мурата далеко не та, что у какого нибудь старца Акима, который занимается чисткой ям и о котором жена его Матрена говорит: «приехал намедни, так блевала, блевала... тьфу!» Когда Хаджи-Мурат во главе своей свиты в'езжает в русскую крепость, «на белогривом коне, в белой черкеске, в чалме на папахе и в отделанном золотом оружии», он менее всего похож на старца Акима или на опростившегося русского

интеллигента из толстовцев. Когда он входит в приемную наместника князя Воронцова, на него обращаются все глаза. Да и есть на что посмотреть: «Хаджи-Мурат был одет в длинную белую черкеску, на коричневом, с тонким серебряным галуном на воротнике, бешмете. На ногах его были черные ноговицы и такие же чувяки, как перчатки обтягивающие ступни; на голове — папаха с чалмой... Хаджи-Мурат отказался сесть и, заложив руку за кинжал и отставив ногу, продолжал стоять, презрительно оглядывая всех присутствующих». Одним словом — хоть картину с него пиши. У этого чеченца тот естественный воинский «шик», под который старательно и тщетно подделывались и Печорин, и Dolochoff le Persan, и Кавказский пленник.

В «Хаджи-Мурате» Толстой безуспешно борется с основной трудностью своего учения, — с проблемой естественного состояния человеческого рода. В. Г. Короленко совершенно правильно заметил, что взыскуемый град Толстого — простая, обыкновенная русская деревня, где только все любили-бы друг друга[1]. Но в этом непреодолимая трудность доктрины великого писателя. Его социально-экономический идеал весь позади; это — пройденная человечеством ступень, к которой возврат невозможен. Его нравственный идеал бесконечно далеко впереди, и один Бог знает, суждено ли осуществить его биологическому виду, называемому homo sapiens.

Ж. Ж. Руссо, проповедывавший возвращение к первобытным формам жизни, в смысле знания человеческих отношений — ребенок по сравнению с Л. Н. Толстым. Руссо мог верить в моральное совершенство первобытного человека, которого он никогда не видал. Недаром же так едко посмеялся над этой стороной его учения Наполеон. Французский император говорил, что египетская экспедиция выбила из него последние остатки культа Руссо: там он воочию убедился, что первобытный человек недалеко ушел от скота. Толстой в данном случае должен занять средин-

[1]) В. Г. Короленко. Л. Н. Толстой. Полн. собр. соч., изд. Маркса, т. I, стр. 309.

ную позицию. В споре великого утописта с великим практиком он принужден оставаться нейтральным. Лев Николаевич жил среди первобытных людей; он любил кровной любовью все первобытное, — бедную великорусскую избу, убогий шалаш башкира, стан кавказского казака, дымный аул чеченца. Но идейной любви быть не могло: Толстой отлично видел, что не здесь надо искать нравственный идеал человечества. В «Хаджи-Мурате» он не склонен идеализировать быт первобытных горцев в ущерб исторической истине. Как, например, ни мрачно описано в «Воскресении» современное уголовное «право» цивилизованных народов, это дитя противоестественного сочетания насилия с моралью, своеобразное судопроизводство горцев оставляет его далеко за собой. На заседании суда Шамиля, картину которого мы находим в XIX главе «Хаджи-Мурата», «двух людей приговорили за воровство к отрублению руки, одного к отрублению головы за убийство»; а сыну Хаджи-Мурата, красавцу Юсуфу, Шамиль за измену отца пригрозил выколоть глаза, так что несчастный юноша тут же хотел покончить с собой. Простота оказывается хуже воровства и читателю несколько неожиданно приходится пожалеть о служителях столичного правосудия, которые невинную Маслову осудили все-таки лишь на четыре года каторжных работ. По сравнению с шестью стариками Шамилева совета кажутся весьма безобидными они все: и внушительный председатель с бакенбардами, непременно желавший поскорее окончить дело, чтобы поспеть к рыженькой Кларе Васильевне, и сердитый член суда, оставленный женой без обеда, и прокурор Вреде, который, проведя ночь в доме разврата, на утро так хорошо говорил, грациозно извиваясь тонкой талией, о жгучих лучах печального явления разложения и о доверчивом богатыре Садко, — Ферапонте Смелькове, — загипнотизированном Масловой при помощи таинственного свойства, в последнее время исследованного наукой, в особенности школой Шарко.

Да что правосудие! Вся жизнь Хаджи-Муратов есть отрицание толстовских принципов: здесь нет непротивле-

ния злу насилием; здесь люди одинаково противятся добру и злу, почти их не различая, и не знают другой формы противления, кроме простого физического насилия. Здесь все бессознательно принесено в жертву честолюбию и неукротимой жажде жизни; религия служит покровом, который каждый тянет к себе, который в конце концов попадает в руки сильнейшего. Одним словом, это подлинная жизнь, — не подрумяненная, не завитая парикмахерами английского толка. Вся ее философия выражена в любимой песне Хаджи-Мурата, которую «необыкновенно отчетливо и выразительно» пел его брат Ханефи:

«Высохнет земля на могиле моей, и забудешь ты меня, моя родная мать. Порастет кладбище могильной травой, заглушит трава твое горе, мой старый отец. Слезы высохнут на глазах сестры моей, улетит и горе из сердца ее.

«Но не забудешь меня ты, мой старший брат, пока не отомстишь моей смерти. Не забудешь ты меня, и второй мой брат, пока не ляжешь рядом со мной.

«Горяча ты, пуля, и несешь ты смерть, но не ты ли была моей верной рабой? Земля черная, ты покроешь меня, но не я ли тебя конем топтал? Холодна ты, смерть, но я был твоим господином. Мое тело возьмет земля, мою душу примет небо».

«Хаджи-Мурат всегда слушал эту песню с закрытыми глазами, и когда она кончалась протяжной, замирающей нотой, всегда по русски говорил:

—Хорош песня, умный песня».

Но Хаджи-Мурат — толстовец должен сказать обратное:

— Дурной песня, глупый песня.

«Лучше умереть во вражде с русскими», провозглашает Шамиль, «чем жить с неверными. Потерпите, а я с Кораном и шашкой приду к вам и поведу вас против русских. Теперь же строго повелеваю не иметь не только намерения, но и помышления покоряться русским». Здесь что ни слово, то острый нож в самое сердце доктрины Толстого. Не он ли призывал людей не противиться воле насильников? Не его ли детища обращались к грабителям с пресловутой

просьбой: «Коли вам, сердешные, на вашей стороне житье плохое, приходите к нам совсем» (XVI, 74)... Читая «Хаджи-Мурата», мы не можем отделаться от мысли, будто старые, давно похороненные элементы постепенно воскресают в вечно юном сердце Толстого. Яснополянский моралист забыл свою проповедь, отдавшись чарам поэзии Кавказа. Это своеобразная поэзия. Это не классический Восток Шехерезады, Гете, Лермонтова, Виктора Гюго, исполненный неги, сладострастия и философской лени. В кавказском Востоке, отраженном поэзией Толстого, эти элементы сочетаются со свойствами светлоголового хищника, тревожившего северную фантазию Фридриха Ницше. Здесь Сарданапал сочетался с Наполеоном и художник не чувствует в себе силы преодолеть странное сочетание, как повелевает ему долг моралиста. Здесь, как в «Войне и Мире», как в «Казаках», вопреки воле автора, проявилась наружу бодрящая поэзия войны и суровой боевой жизни... «По всей линии цепи», описывает Толстой стычку русских с чеченцами, «послышался непрерывный, веселый, бодрящий треск ружей, сопровождаемый красиво расходившимися дымками. Солдаты, радуясь развлечению, торопились заряжать и выпускали заряд за зарядом. Чеченцы, очевидно, почувствовали задор...» и т. д. Здесь даже «прелесть семейной ласки любимейшей из жен Шамиля, 18-летней черноглазой, быстроногой кистинки Аминет» является в старых толстовских тонах, точно художник позабыл на минуту мрачное обличение Позднышева. Великий писатель снова во власти чар внелогичной красоты и бесцветная проповедь старца Акима заглохла в мощных звуках свободной песни Хаджи-Мурата. Книга эта написана точно на зло биографам и комментаторам.

VII

Перед нами поистине загадочное явление.

Толстому были даны природой глаза, которым равных по остроте не имеет в настоящее время ни один другой че-

ловек, быть может, не имел никто и прежде. Этот избранник судьбы мог видеть все — и напрягал силы к тому, чтобы свести до минимума горизонт своего зрения. Ни один другой мыслитель не был так глубоко, как Толстой, убежден, что в огромном здании жизни под мысль отведена лишь одна небольшая комната, что жизнь не укладывается целиком ни в какие логические и моральные догмы, что она полна явлений, недоступных пониманию человека, стало быть, не имеющих вовсе смысла, — если отречься от банальных, ничего не значащих фраз старой богословской метафизики[1]. И вместе с тем никто другой в современной философии не приложил столько усилий, чтобы подчинить жизнь логике, чтобы заслонить внелогичное от себя и от других, чтобы втиснуть бытие человека в рамки простейших прописных начал. Ведь толстовство — крайняя ступень рационализма, дальше которой, пожалуй, некуда идти. Читая догматические произведения Толстого, мы испытываем иллюзию необыкновенной ясности и простоты. Как стройно выводятся всевозможные «упряжки», посвященные сну, общению с людьми, умственному, физическому труду, как математически ясно определено, что нужно делать и чего не нужно делать! Пункт первый... пункт второй... пункт третий... Кажется, никогда христианская доктрина не излагалась в такой, почти бюрократической форме. «В чем моя вера» — своего рода свод законов[2], наизнанку написанный анархистом.

Не в этом ли коренном дуализме следует искать истинную причину антипатии Толстого к науке? Настоящий грех последней не в том, что она «научная», а не «истин-

[1]) Последнего вывода Толстой, однако, не делал. Напротив, он мог сказать, как самую естественную вещь, следующее: «жизнь мира совершается по чьей-то воле, — кто-то этою жизнью всего мира и нашими жизнями делает свое какое-то дело. Чтоб иметь надежду понять смысл этой воли, надо прежде всего исполнять ее, делать то, чего от нас хотят». («Исповедь»). Спачала — исполнять, а понять можно потом!

[2]) Невольно является мысль: может быть, известное изречение Вовенарга: ceux qui craignent les hommes aiment les lois — относится не только к писанному, но и к моральному закону.

ная»; Толстой ненавидит ее не за то, что она, вместо ушата и топорища, занимается лейкоцитами и млечным путем. Он ненавидит ее почти мистической ненавистью, не отдающей себе ясного отчета. Наука означает для Толстого строй мысли, страдающий неизлечимой слепотой. Она ведь игнорирует внелогичное или просто его не замечает. И свою бессознательную слепоту хочет выдать за высшую степень зоркости, осмеливается навязывать себя людям, которые вечно видят перед собой то, о чем она не подозревает! Все творчество Толстого, не только догматическое, но и художественное (и второе гораздо больше, чем первое), заключает в себе скрытый вызов науке. Что-то она ответит на «Смерть Ивана Ильича»? как отделается от воинственной песни Хаджи-Мурата? чем она сокрушит Позднышева? Науке ответить нечего. Верная завету великого провидца, она отыскивает «маленькую правду» и не заботится о «большой лжи»[1]). Для большинства ученых внелогичное есть нелогичное (то есть ложь), хотя из вежливости они носят удобный и достойный костюм позитивизма... Вильгельм Оствальд говорит, что в нем первое чтение «Крейцеровой Сонаты» вызвало некоторую тревогу; но затем, подумав над тезисами книги, знаменитый ученый скоро успокоился. Это очень характерно. «Крейцерова Соната» вызвала в Оствальде то же чувство, которое она вызывает в нас всех, — смутный безотчетный страх перед грозным призраком внелогичного. Но, разумеется, идеи «Послесловия» ни на минуту не могли затруднить такого логика, как Оствальд. Он прочел «Послесловие», проверил его и себя и с радостью убедился, что может ответить Толстому по всем пунктам, не делая вдобавок большого усилия мысли: десятки пасторов до Толстого выступали с проповедью добрачного целомудрия, десятки врачей и социологов отвечали им «с одной стороны» и «с другой стороны». Какую бы сторону ни выбрать, ответ Толстому готов. Беда лишь в том, что «Послесловие» не выражает одной сотой сказанного в «Крейцеровой Сонате».

[1]) «È meglio la piccola certezza che la grande bugia» (Leonardo da Vinci. Frammenti e pensieri).

Оно даже выражает нечто совсем другое. «Формулы Максвелля гораздо глубже, чем Максвелль». На «Послесловие» легко ответить; Позднышеву ответить невозможно.

В этом смысле Толстой остается победителем в своем споре с наукой, что̀-бы ни говорили самодовольно Петцольдты насчет «eine gewisse Verkümmerung des logischen Bestandes» у автора «Крейцеровой Сонаты». Но победа Толстого — Пиррова победа. Разбивая науку, он разбил и самого себя. Наука ничего не может ответить Анне Карениной, Позднышеву, Ивану Ильичу. Но и Толстой ничего не может им ответить. Он на внелогичное дает рационалистические ответы, которые ничуть не более ценны, чем великолепное молчание науки. К тому же все эти ответы находятся в вопиющем противоречии один с другим. В «Анне Карениной» дана апология брака; в «Крейцеровой Сонате» брак смешан с грязью [1]). «Смерть Ивана Ильича» призывает людей жить по-божески, чтобы спокойно умереть. «Хаджи-Мурат» показывает, что жизнь хороша, даже если не жить по-божески; а умирает Хаджи-Мурат во всяком случае и легче, и красивее, чем раскаявшийся Иван Ильич... Эти противоречия неустранимы, потому что они — противоречия самой жизни. Их можно не изгладить, конечно, а прикрыть ярлыком скептического миропонимания. Но Толстой слишком ясно чувствовал, что скептицизм так же легко разбивается о жизнь, как любая положительная догма.

* * *

Гюйо говорит в «L'art au point de vue sociologique», что некоторые из образов, созданных фантазией великих

[1]) Как мучительно путался в этом вопросе Толстой, видно хотя бы из непосланного письма его к Н. Н. Страхову от 19-го марта 1870 г. Защищая брак против «пустобрехов», Лев Николаевич дошел здесь до апологии проституции, которую отстаивал доводами вроде следующих: «Эти несчастные (Магдалины) всегда были и есть и по моему было бы безбожием и бессмыслием допускать, что Бог ошибся, устроив это так», или «то, что этот род женщин нужен, нам доказывает то, что мы выписали их из Европы». (Толстовский музей, т. II, стр. 10).

художников слова (как Альсест, Гамлет, Вертер), одновременно являются реальными и символическими, чему, по его мнению, они обязаны своей неумирающей славой. Толстой мало заботился о символике в своих художественных произведениях. Из Стивы Облонского, Кити, Николая Ростова или ад'ютанта Дубкова, конечно, никакого символа не выкроишь. Тем не менее, некоторые фигуры, созданные Толстым, вполне удовлетворяют требованию Гюйо. Я бы отнес сюда Каратаева и Нехлюдова. Образы эти в данном случае меня интересуют потому, что символизируют именно те начала, о которых выше шла речь. Они, впрочем, и сами по себе напрашиваются на сопоставление, так как взаимно исключают друг друга. Один — сама удовлетворенность, другой — воплощенное искание. Один весь — радость жизни, другой весь — недовольство. Один купается во внелогичном, как сыр в масле, другой хочет весь мир втиснуть в формы логического мышления. Это тоже своего рода Ормузд и Ариман, только jenseits des Gut und Böse, и любитель абстракций мог бы изобразить всю жизнь Толстого, как борьбу этих двух начал.

Каратаев — не эллин и не иудей. Русский человек с головы до пят, он символизирует непонятный оптимизм народа, который, перенеся татарское иго и крепостное право, Батыев и Биронов, Аракчеевых и Салтычих, ухитрился создать кодекс практической мудрости, удивительно сочетающий Эпиктета с Панглоссом. Как ни трогателен великолепный образ, созданный Толстым, но от него до Вольтеровской сатиры только один шаг. «Час терпеть, а век жить», говорит Платон Каратаев. Когда же он «живет» и что он называет «терпеть»? Запертый французами в балаган из обгорелых досок, он, сидя на соломе, радуется: «живем тут, слава Богу, обиды нет». Рассказывая Пьеру, «как его секли, судили и отдали в солдаты», он «изменяющимся от улыбки голосом» добавляет: «что-ж, соколик, думали горе, ан радость!» Глядя на пожар Москвы, философски утешается: «червь капусту гложе, а сам прежде того пропадае». Да ведь и капуста «пропадае»? Но Каратаев оптимист и на чужой счет. В знаменитом рассказе он пе-

редает ужасную историю, которая в своем роде стоит повести Ивана Карамазова о затравленном ребенке, по лицо его блаженно сияет «особенно радостным блеском». Чему он радуется? Тому ли, что невинному купцу вырвали ноздри, «как следует по порядку»? Тому ли, что об'явился настоящий виновник, которому за минуту умиления, за принесенное сознание, вероятно, тоже по порядку вырвут ноздри? Тому ли, что «пока списали, послали бумагу, как следовает», невинный купец отдал Богу душу? Что скрывается в глубине этого таинственного явления? Для Каратаева, как для всего русского народа, преступник и несчастненький — одно и то же. Но еще вопрос, как создалась эта ассоциация понятий: видит ли Каратаев несчастье в преступлении или преступление в несчастьи? Его веками воспитанное смирение тесно сплелось с культом поддерживающей status quo физической силы; но оно, повидимому, исчезает, как дым, в дни общественных потрясений. Велика об'единенная сила косности ста пятидесяти миллионов Каратаевых, но стоит пробежать искре, и вспыхивает «русский бунт, бессмысленный и беспощадный». Бессмысленное смирение, бессмысленный бунт... Да и для чего Каратаеву смысл? Он живет вне логики и не знает, что такое логика. Он способен любоваться чем-то в несправедливости, но борьба с ней не вяжется в нормальное время с его понятиями о благообразии. Он видит «порядок» в вырванных ноздрях купца, но та деятельность, которой в эпилоге «Войны и Мира» отдается Пьер Безухов, по признанию самого Пьера, не нашла бы одобрения Каратаева. В нормальное время для него все действительное разумно, а он сам бессознательный русский гегельянец 40-х годов. Я боюсь даже, что он и в толстовстве не найдет своего любимого благообразия, по крайней мере, до тех пор, пока толстовство не завоюет мира. Каратаевщина — большое личное счастье и огромное социальное зло. И если Толстой порою видел в ней высшую мудрость жизни, то носитель этой мудрости, русский Панглосс в сермяге, не заплатит тем же великому рыцарю духа.

Нехлюдов, общий Нехлюдов многочисленных произведе-

ний Толстого, тот, что сердится в «Люцерне» и умиляется в «Утре помещика», кончает самоубийством в «Записках маркера» и воскресает в «Воскресении», не несет в себе ни национального, ни религиозного начала. Он не русский: в нем голос рассудка заглушает голос крови; и не из той он породы русских отрицателей родины, которые всего ближе России в те моменты, когда они ее отрицают, как Кириллов, «gentilhomme-séminariste russe et citoyen du monde civilisé». Нехлюдов принадлежит к другой породе космополитов. Тихо-де-Браге на угрозу изгнанием гордо ответил: мое отечество всюду, где видны звезды. Родина Нехлюдова всюду, где человек может стремиться к правде и грызть самого себя при ее вечном ускальзываньи. Если для Каратаева Наполеон и декабристы — непорядок, то для Нехлюдова демократический деспот Франции и аристократические революционеры России — слишком «порядок», слишком terre à terre. Нехлюдов не христианин: для него христианство — временное dada, как для Вронского постройка сельской больницы. Воскресший Нехлюдов несет в потенциальном состоянии новые паденья и новые воскресенья, несет в себе длинный ряд самых различных возможностей. Легко допустить, что он кончит самоубийством; ведь заставил же его однажды Толстой застрелиться после случайного и довольно невинного «падения». Нет ничего невозможного и в том, что, вернувшись из Сибири, Нехлюдов соединится узами законного брака с какой-нибудь Мисси Корчагиной, — не сразу, конечно, а годика через два-три, причем брак этот легко может закончиться так, как идиллия «Крейцеровой Сонаты» (но, вероятнее всего, без убийства, — семейным адом без кинжала и крови). Можно, наконец, предположить, что Нехлюдов займется рано или поздно деятельностью общественной, как Кознышев или Крыльцов, и скорее как Крыльцов, чем как Кознышев. Только одной возможности я никак не могу представить себе для Нехлюдова: перманентную святость. Эта последняя у Толстого облекается либо в форму святости мнимой, — святошества, как у коротконогой «пиетистки», госпожи Шталь, либо в форму прозаической святости,

черпающей силу в особенностях природного темперамента, как у Сони «Войны и Мира», либо, наконец, в форму святости трагической, пример которой долгое время являет отец Сергий; но для последней, кроме личных особенностей, необходимо экстренное и случайное обстоятельство, которого не было в истории жизни Нехлюдова. Святость же перманентная, святость любимцев Достоевского, Толстому никогда не удавалась; он предпочитал раз'яснять ее сущность в своих правоучительных рассказах, о которых можно сказать, парафразируя слова Паскаля: «on s'attendait à voir un auteur, et on ne trouve qu'un homme». И потому занавес опускается над Нехлюдовым в самый момент духовного воскресения.

Характерный для Каратаева эпизод, относящийся к последнему году жизни Льва Николаевича, мы находим в воспоминаниях В. Г. Черткова. Толстому случилось в Кочетах вести философский спор со стариком-скопцом, который провел в ссылке более 30 лет. Скопец, неожиданно оказавшийся искусным диалектиком, поставил Льва Николаевича в весьма затруднительное положение:

«Л. Н. Нужно прилагать усилие, чтобы воздерживаться от полового общения, в этой борьбе с соблазнами задача жизни.

N. (скопец). Для простого человека, ваше сиятельство, ежели он здоровый, это невозможно. Вот духоборы, с которыми мы много виделись в Сибири, говорили, что решили воздерживаться, жить целомудренно. Мы им говорили — вы это говорите теперь, а посмотрим, что будет, когда вы дойдете до Якутска. И что же, через год мы их опять видели, и много у них люлек и младенцев!

Л. Н. Нужно стремиться. Совершенным быть нельзя, но стремиться можно.

N. Ваше сиятельство, позволите вам сказать?

Л. Н. Пожалуйста, пожалуйста, говорите.

N. Ваше сиятельство, ведь нужно соблюдать целомудрие, не так ли?

Л. Н. Разумеется, нужно, разумеется.

N. (Спокойно, убежденно и безапелляционно, как нечто совершенно очевидное.) В таком случае, скажите, ваше сиятельство, на что . . .? Для чего . . .? Не лучше ли освободиться . . .

Л. Н. (улыбнувшись). Да, на это трудно ответить вам (после того Л. Н. несколько раз вспоминал этот аргумент скопца и сознавался, что был им озадачен). Но в таком случае, можно сказать: на что жизнь? Не лучше ли самоубийство? Ведь если бы все люди последовали вашему примеру, то род человеческий сам себя уничтожил бы.

N. Нет. Самоубийство — этого нам Христос не велел. Нужно страдать.

Л. Н. И тут воздерживайся и страдай. Ведь если пьяница не напивается потому, что у него денег нет или нет поблизости кабака, то заслуга не велика. Нет, ты воздерживайся, когда есть возможность согрешить»[1]).

Лев Николаевич бесспорно мог быть озадачен аргументом старого скопца: в сущности, автор «Крейцеровой Сонаты» не имеет никакого ответа на поставленный скопцом вопрос. Он то возражает ему ссылкой на прекращение человеческого рода, то есть доводом, который Позднышеву противопоставлял его манекен-собеседник (к тому же, род человеческий прекратился бы и при общем целомудрии), то доказывает, что без соблазнов не было бы и борьбы с соблазнами. Но этот ответ совершенно схоластичен: если верно сравнение Толстого, то не надо закрывать и кабаков; напротив, необходимо позаботиться, чтоб кабаки находились всюду, дабы каждый пьяница, имея перед глазами соблазн, мог воздерживаться и страдать. Приблизительно такими же аргументами Шопенгауер опровергал тех, кто считал самоубийство прямым выводом из его мрачной философской системы. Озадаченный Толстой улыбался в ответ на искусный довод скопца, но улыбался типичной, не аргументированной улыбкой непостижимого, круглого и вечного Платона Каратаева.

[1]) В. Чертков. Свидание с Л. Н. Толстым в Кочетах. «Речь», от 7 ноября 1913 г.

Скопчество, конечно, отвратительно. Изуверски-последовательная доктрина скопцов покоится на той мысли, что природа человека глубоко уродлива сама по себе, — мысль весьма опасная для односторонне-логических и в то же время религиозных натур; знающие люди говорят, что она не согласуется с истинной верой. Шатобриан, которому в религиозных вопросах, конечно, и книги в руки, отличал верующих людей от атеистов именно по оценке природы человека, — весьма будто бы благосклонной у первых, весьма неблагосклонной у вторых. Он говорит: «La religion ne parle que de la grandeur et de la beauté de l'homme. L'athéisme a toujours la lèpre et la peste à vous offrir. La religion tire ses raisons de la sensibilité de l'âme, des plus doux attachements de la vie, de la piété filiale, de l'amour conjugal, de la tendresse maternelle. L'athéisme réduit tout à l'instinct de la bête, et pour premier argument de son système, il vous étale un cœur que rien ne peut toucher»[1]. Если верить критерию Шатобриана, то Л. Н. Толстой окажется атеистом чистейшей воды! В его изображении человеческой природы ни один мизантроп не найдет недостатка «чумы» и «проказы»:

Мать завидует счастью дочери, сделавшей блестящую партию[2]; — la tendresse maternelle.

Жена низводит близящуюся смерть мужа «до уровня... визитов, гардин, осетрины к обеду». Муж «всеми силами души ненавидит ее и прикосновение ее заставляет его страдать от прилива ненависти к ней»[3]; — l'amour conjugal.

Мальчик-сын разыгрывает утонченную комедию скорби на похоронах нежно-любимой матери[4]; — la piété filiale.

Добродушный штабс-капитан задушевно мечтает о том, чтобы скорее случилось умереть его товарищу, женатому

[1]) Chateaubriand. Génie du Christianisme. Lyon 1804, t. II, p. 170.

[2]) Княгиня Курагина.

[3]) Прасковья Федоровна и Иван Ильич.

[4]) Николенька Иртенев.

на хорошенькой женщине[1]; — les plus doux attachements de la vie.

Храбрый русский офицер, блестящий государственный деятель, внутренно сожалеет о том, что русской армией было в его отсутствие нанесено поражение неприятелю[2]; — la grandeur et la beauté de l'homme.

Таких примеров можно указать очень много. Приводимые факты относятся не к преступникам, не к злодеям, а к людям, стоящим на среднем моральном уровне или даже далеко выше середины, как Николенька Иртенев и князь Андрей. Толстовский скальпель, изрезывая вдоль и поперек мельчайшие ткани нормального человеческого сердца, вытаскивает наружу на показ людям много таких вещей, о которых мы не подозревали или по меньшей мере не смели думать. И характернее всего то, что делается это совершенно незаметно. «Чума и проказа» прикрыты страстной любовью к жизни, которая мощным потоком кипит во всех почти созданиях Толстого («Крейцерова Соната» — самое резкое исключение). И только наиболее проницательные судьи, как Тургенев, сразу увидели, что из природы Толстым выделена безделица, — что из толстовской любви к жизни из'ята самая малость — «царь творения».

«Этот человек никогда никого не любил», сказал Тургенев о Толстом, и странно теперь звучит его суровый отзыв: мы давно признали величайшего из наших писателей самим воплощением любви. И мы отчасти правы, поскольку дело идет о любви рассудочной. Но, как говорит князь Андрей, «не годится человеку вкушать от древа познания добра и зла». Христианин Толстой доходил в своих художественных произведениях до такого издевательства над людьми, на которое не решался ни один профессионал мизантропии. Шопенгауер где-то замечает, что

[1] Михайлов (Севастополь в мае 1855 г.).

[2] Князь Андрей Болконский. «Да что, бишь, еще неприятное он пишет?» вспоминал князь Андрей содержание отцовского письма. «*Да. Победу одержали наши над Бонапартом именно тогда, когда я не служу*» (*V, 77*).

врач видит человека во всей его слабости, юрист — во всей его безнравственности, священник — во всей его глупости. Толстой-художник в своем отношении к человеку одновременно — врач, юрист и священник: он видит все зло человеческой природы и его художественное творчество дает этому злу ряд необыкновенно ярких примеров.

«Я чувствовал», описывает Позднышев сцену убийства жены, «что я вполне бешеный и должен быть страшен, и радовался этому. Я размахнулся изо всех сил левой рукой и локтем попал ей в самое лицо. Она вскрикнула и выпустила мою руку. Я хотел бежать за ним, но вспомнил, что было бы смешно бежать в носках за любовником своей жены, а я не хотел быть смешон, а хотел быть страшен. Несмотря на страшное бешенство, в котором я находился, я помнил все время, какое впечатление я произвожу на других, и даже это впечатление отчасти руководило мною». Эта сцена не требует комментариев. Так никто никогда не описывал убийства. Зола показывал нам в сценах своих «crimes passionels» наследственное бешенство, безумие, мстительность, страсть самца, — у Толстого есть все это, но он идет гораздо дальше: до «носков» Зола бы никогда не додумался. Добавить к ужасному смешное, к трагедии фарс, к ярости кривлянье, — вот чисто Толстовская черта!

Другой пример. Иван Ильич только что умер и его старый друг Петр Иванович пришел отдать ему последний долг. «Прасковья Федоровна, узнав Петра Ивановича, вздохнула, подошла к нему вплоть, взяла его за руку и сказала: «Я знаю, что вы были истинным другом Ивана Ильича . . .» и посмотрела на него, ожидая от него соответствующих этим словам действий. Петр Иванович знал, что как там надо было креститься, так здесь надо было пожать руку, вздохнуть и сказать: «поверьте!» И он так и сделал. И, сделав это, почувствовал, что результат получился желаемый: что он тронут и она тронута.

— Пойдемте, пока там не началось; мне надо поговорить с вами, — сказала вдова. — Дайте мне руку.

Петр Иванович подал руку, и они направились во внутренние комнаты, мимо Шварца, который печально подмигнул Петру Ивановичу.

«Вот-те и винт! Уж не взыщите, другого партнера возьмем. Нешто впятером, когда отделаетесь», сказал его игривый взгляд.

Петр Иванович вздохнул еще глубже и печальнее, и Прасковья Федоровна благодарно пожала ему руку...

— Курите, пожалуйста, — сказала она великодушным и вместе убитым голосом и занялась с Соколовым вопросом о цене места.

Петр Иванович, закуривая, слышал, что она очень обстоятельно распросила о разных ценах земли и определила ту, которую следует взять. Кроме того, окончив о месте, она распорядилась и о певчих. Соколов ушел.

— Я все сама делаю, — сказала она Петру Ивановичу, отодвигая к одной стороне альбомы, лежавшие на столе; и, заметив, что пепел угрожал столу, не мешкая подвинула Петру Ивановичу пепельницу...

— Ах, Петр Иванович, как тяжело, как ужасно тяжело, как ужасно тяжело; — и она опять заплакала.

Петр Иванович вздыхал и ждал, когда она высморкается. Когда она высморкалась, он сказал: «Поверьте...», и опять она разговорилась и высказала то, что было, очевидно, ее главным делом к нему; дело это состояло в вопросах о том, как бы по случаю смерти мужа достать денег от казны».

Разве это не издевательство? В сущности, Толстой не делает никакой разницы между Прасковьей Федоровной, самой обыкновенной женщиной, верной супругой Ивана Ильича, и отравительницей Анисьей, которая, только что покончив с мужем, причитает над ним: «О-ох! О-о-о, и на кого-о-о-о и оставил и о-о-о и на ко-о-го-о о покин-пул о-о-о... вдовой горемычной... век вековать, закрыл ясны очи»... А окружающие? Лучшие друзья Ивана Ильича?.. В знаменитой сцене смерти Эммы Бовари прославленный мизантроп Флобер изображает картину искренней печали окружающих, — ближних и дальних. Шарль.

Омэ, Руо, Бурнисьен — жалкие люди. Они не блещут достоинствами, они часто нелепы, они почти всегда смешны. Но над открытым гробом человека эти люди не играют комедии; они огорчены и подняты духом... А ведь Флобер не скрывал своей коренной антипатии к человеку; если б знаменитый писатель se piquait de conséquence, он бы маркизу Позе не поверил пяти франков на слово. Кто же религиозен в смысле Шатобриана: мизантроп «Madame Bovary» или христианин «Смерти Ивана Ильича»?

Толстой-догматик учил нас, что «дверь отворяется внутрь». Толстой-художник показал нам, что делается «внутри». Но, погуляв по лабиринту души человеческой с таким Виргилием, как автор «Крейцеровой Сонаты», всякий попросится наружу, «nel chiaro mondo». Можно сказать, впрочем, что в этом все дело: Толстой верил в совершенствование и к нему призывал людей. Допустим, что верил. Но моральное совершенство не есть нечто данное об'ективно. Вне конкретных форм оно лишено всякого смысла, а насчет конкретных форм людям очень трудно сойтись. Там, где один видит большую высоту нравственного под'ема, другой может не найти ничего хорошего, а третий, пожалуй, отыщет «такое, что плевать нужно», как выражается Янкель в «Тарасе Бульбе» Гоголя. Великий знаток жизни Шекспир изобразил Брута чистым совершенством всех человеческих добродетелей. Другой знаток жизни Дант отвел тому же Бруту теплое место в самом последнем отделении последнего адского круга, дальше Каина и рядом с Иудой. Беспристрастная история нашла золотую, но прозаическую средину. Она сделала из Брута впечатлительного и тщеславного республиканца, который в свободное от подвигов время отдавал деньги в рост...

«То, что справедливо и несправедливо, не дано судить людям», говорит Пьеру князь Андрей. «Люди вечно заблуждались и будут заблуждаться, и ни в чем больше, как в том, что они считают справедливым и несправедливым». Толстой в последние годы своей жизни, конечно, не согласился бы со взглядами князя Андрея. Однако, он

не любил сталкиваться с конкретными формами зла на нашей грешной земле, ограничиваясь в таких случаях директивой общего характера; в небольшом диалоге «Детская мудрость», помещенном в посмертном издании сочинений Толстого, маленький мальчик Миша пишет на клочке бумаги следующее изречение: «Нада бут добрум». Фраза эта в издании гр. А. Л. Толстой напечатана огромными буквами. Я не знаю, есть ли соответствующие указания в рукописи Льва Николаевича, но, конечно, аршинный шрифт здесь вполне уместен: слова Миши толстовцы по справедливости должны написать на своем символе веры (не говорю «программе» или «знамени», так как первое слово для толстовцев отдает политикой, а второе — милитаризмом). Постепенно вычеркивая все графы в текущем счете, который ведет с миром каждый большой человек, Лев Николаевич остался в конце концов при достатке мальчика Миши: нада бут добрум. Я знаю, что толстовцы немного гордятся этой лаконичностью своего учения; они и в двадцатом веке верят, как Гиллель, что всю мудрость мира можно передать, стоя на одной ноге. Но хорош был бы Толстой, если б после него осталась одна Мишина формула! К тому же мало сказать «нада бут добрум». В известных условиях эта пропись хуже, чем «надо быть злым»; ведь Мише еще Паскаль ответил: «Qui veut faire l'ange fait la bête».

VIII

Говоря о Л. Н. Толстом, трудно обойти молчанием его последователей: ведь иные толстовцы представляют собой живой опыт над доктриной великого писателя.

Один из современных французских драматургов как-то заметил: «La franchise est un revolver qu'on n'a pas le droit de décharger sur les passants». Это не только очень остроумно, но и очень верно.

Толстой как-то спросил своего последователя писателя Наживина:

— «Вы что теперь делаете?

— Работаю на своем хуторе, пишу...

— Что?

— Свою «исповедь». Подробно рассказываю, что я пережил за последние пять лет.

— Это очень, очень хорошо... — сказал Лев Николаевич. — Я думаю, что этот род литературы скоро заменит собою теперешние романы. Это очень хорошо. Только смотрите, берегитесь рисовки. Этот бес очень лукав.

— Не знаю, но, кажется, я не грешу этим, — сказал я.

— Дай Бог, дай Бог!..»[1]).

Очень интересный разговор. Мы не можем, конечно, знать, заменят ли исповеди в будущем теперешние романы, но в этом позволительно усомниться. Чрезмерная откровенность пока не очень ходкий товар, особенно когда она предлагается не в розницу, как в романах, а оптом, как в исповедях: — вот, мол, вам, милостивые государыни и государи, голый человек «за последние пять лет» или даже за всю жизнь, делайте с ним все, что вам угодно. — Мы инстинктивно боимся таких исповедей и, быть может, мы не совсем неправы.

Лев Николаевич сказал, что исповедь «это очень, очень хорошо», и посоветовал своему собеседнику непременно ее написать. Но сам Толстой исповеди обществу не дал. Нельзя же в самом деле считать исповедью ту книгу, которая под этим названием помещена в собрании его сочинений. Эту книгу Михайловский как-то назвал щеголеватой. Он был несправедлив. Толстой никогда ни перед кем не щеголял и щеголять не хотел. Но эта книга вовсе не исповедь, это история отпадения Льва Николаевича от православия — и только. Гораздо яснее выражен конфессиональный характер художественных произведений Толстого; но в них исповедь подается в розницу и, главное, под псевдонимом. Иртенев, Оленин, Нехлюдов, Левин, каждый из этих людей, конечно, немного — сам Толстой,

---

[1]) Ив. Наживин. Из жизни Л. Н. Толстого. Москва 1911 г., стр. 96.

но только немного и не совсем: Федот, да не тот[1]). Кое-что от Толстого есть и в Позднышеве, однако, в исповеди самого писателя, если бы таковая когда-либо появилась в свет, даже намек на мрачную мелодию «Крейцеровой Сонаты» звучал бы гораздо страшнее[2]). Настоящую свою исповедь Толстой только хотел написать, но не написал: «я ужаснулся», рассказывает он, «перед тем впечатлением, которое должна бы была произвести такая биография». Так мы и не имеем исповеди Толстого. Есть, впрочем, в мировой литературе другие произведения этого характера, но и в них содержание редко соответствует заглавию. Я уже не говорю о различных мемуарах, которые иногда принимают характер самообличения, как, например, «Былое и думы». Гениальная книга Герцена все-таки прежде всего литературное произведение, притом служащее оправдательным документом перед людьми. Это мемуары кругом правого человека, правого даже тогда, когда он сам себя обвиняет. Но недалеко ушли отсюда и книги, специально написанные для покаяния. Один из грехов, о которых с особенным ужасом[3]) вспоминал св. Августин, заключался в том, что однажды, шестнадцати лет от роду, он, забравшись в чужой сад, похитил в нем несколько груш. О таких грехах может, конечно, вспоминать и святой. Это даже очень красиво... В сущности, «Les Confessions» Руссо вряд ли не единственная книга, которая с некоторым (хотя далеко

---

[1]) Все они прежде всего лишены художественного гения их автора. Замечательно то обстоятельство, что ни в одном из своих произведений Толстой не избрал героем писателя. Будь у Нехлюдова художественный талант, он бы и не подумал жениться на Масловой; вместо покаяния, он напечатал бы в толстом журнале повесть падения Катюши.

[2]) Я имел возможность ознакомиться в корректуре с книгой В. М. Черткова «О Толстом» (Берлин, 1922 г.). Графини Софьи Андреевны нет более в живых, и таким образом не приходится ждать ответа на обвинения, содержащиеся в этой злобной книге. Но как бы ни относиться к освещению фактов, которое дает г. Чертков, факты сами по себе могут напомнить «мрачную мелодию» знаменитого рассказа. *Прим. автора к 2-му изданию.*

[3]) «Foeda erat et amavi eam; amavi perire: amavi defectum meum» и т. д. (Lib. II, cap. IV).

не полным) правом может называться исповедью. Какая же награда выпала на долю бесстрашного человека? Кроме чести упоминания в курсах сексуальной психопатологии (le cas Jean-Jacques), вечная репутация циника (я берусь указать десяток профессоров, которые в своих книгах не задумались так назвать Руссо). А какая польза для ближних? Смутное сознание того, что от полной «искренности» до легкого цинизма только один шаг.

Толстой не написал исповеди, так как усомнился, законно ли то любопытство ближних, которое требует, чтобы писатель непременно ходил днем и ночью нагишом. Толстовцам это сомнение, повидимому, не приходит в голову. От него, конечно, очень легко отделаться, перегибая палку в противоположную сторону. Нетрудно ответить с негодованием: — значит, писатель должен лгать, лицемерить, притворяться? и т. д. Нет, разумеется, не должен. Но что же делать, если все-таки «le malheur veut que qui veut faire l'ange fait la bête»? В морали, как в искусстве, надо иметь чувство меры, надо знать, где кончается законная правда жизни и где начинается духовная порнография.

В своем интересном дневнике «Красные Маки» И. Ф. Наживин цитирует следующие слова Писарева: «Платон верил в создания своей фантазии; он считал их за абсолютную истину и ни разу не становился к ним в критические отношения; одна секунда сомнения, один трезвый взгляд могли разрушить это очарование, рассеять всю яркую и великолепную галлюцинацию. Но этой роковой секунды в жизни Платона не было, и на всех сочинениях его легла печать самой фантастической и в то же время спокойной веры в непогрешимость своей мысли и в действительность созданных ею призраков». «Совершенно то же», прибавляет от себя г. Наживин, «и теми же словами можно сказать и о Писареве и о всех иже с ним: увы, у них тоже не было этой благодетельной секунды и они точно так же окружили себя призраками, созданными их мыслью, призраками, даже, пожалуй, столь же грандиозными и красивыми и «идеальными», как и призраки Платона, и

так же *верили* (курсив автора) в создания своей фантазии. Я отошел уже и от тех и от других!..» (курсив мой).

Да нет, в том-то и дело, что г. Наживин, как и другие толстовцы, отошел от призраков не дальше, чем все мы, грешные. У автора «Красных Маков» другие призраки, не те, что у Платона, и не те, что у Писарева, но к нему вполне применимо все, что Писарев говорит о Платоне, а он сам — о Писареве. Этим попреком, как мячиком, можно перекидываться бесконечно долго. Призрак толстовцев, заимствованный им у Толстого, есть призрак условного личного совершенствования, и он совершенно заслонил от них весь великий Божий мир. Толстой рассказал нам в «Исповеди», как в тяжелые дни кризиса ему случалось задавать себе вопрос: «Ну, хорошо, ты будешь славнее Гоголя, Пушкина, Шекспира, Мольера, всех писателей в мире, — ну, и что ж?..» Затем кризис разрешился и слава утратила для Толстого значение. Но что бы сделал великий писатель (я вынужден говорить в сослагательном наклонении), если бы роковой вопрос снова стал его посещать в несколько иной форме: «Ну, хорошо, ты будешь нравственнее Сократа, Будды, Эпиктета, Паскаля, всех нравственных людей в мире, — ну и что ж?..» И на это нечего ответить. И на это Толстой никогда ничего не ответил, как не ответили последователи яснополянского мудреца. Они отделываются ничего незначащими словами о необходимости исполнения чьей-то воли или, еще лучше, говорят со строгим лицом, что есть вопросы, которых мы не вправѐ задавать. Но какое бы строгое лицо они при этом ни делали, мы отлично понимаем, что их позиция не тверда. Они только и могут ответить: нам так лучше[1]. А этот ответ ничего не стоит, потому что с таким же правом и уж, конечно, не менее искренно миллионы других людей скажут: нам лучше иначе.

---

[1]) Очень характерное выражение я нахожу в дневнике Толстого от 19-го июля 1896 г. (XXIV, 126): «духовное сладострастие любви к врагам»...

В сущности, тут нет места для спора. Когда из двух людей, стоящих перед цветным предметом, один называет его розовым, а другой — синим, логика совершенно бессильна. В споре дальтонистов с людьми нормального зрения нет ни правых, ни виноватых; можно только определить, какие глаза у большинства. Спор Толстого с миром о ценностях разрешается труднее. Лев Николаевич както сказал, что для него все люди делятся на способных и неспособных к религиозному миропониманию. Что же делать с неспособными? Их довольно много и между ними попадаются лица, на которых толстовцы никак уж не могут смотреть сверху вниз. Например, И. И. Мечников, посетивший в 1909 г. Льва Николаевича, оказался абсолютно неспособным: «Я попробовал», рассказывал Толстой г. Гусеву, — «с ним (Мечниковым) заговорить о религии; он из уважения ко мне не возражал, но я увидел, что это его совершенно не интересует». Так княжна Марья с монахом, по выражению князя Андрея, «даром растрачивали порох», воздействуя в религиозном направлении на старика Болконского. К кому можно апеллировать в этом споре? к большинству? Огромное большинство культурных людей верит в то, что толстовцы закапывают в могилу так усердно и так напрасно. А темный народ стоит в стороне, не принимая участия в споре...

К тому же можно ли решать вопрос о ценностях путем всеобщей подачи голосов? Для толстовцев оно, пожалуй, и невыгодно. Непротивлению злу насилием в этом случае грозила бы большая опасность; о неизбежном торжестве «политики» нечего и говорить. А этому идолу толстовцы ни за что не поклонятся.

Тема их иронии давно задана Толстым: те же, в сущности, «лейкоциты», тот же «млечный путь», никому ненужный, кем-то для чего-то выдуманный. Sub specie aeterni громить «политиков» и «политику» не очень хитрое дело. Но если бы кто захотел поупражнять ироническое дарование над деятельностью самих воинственных толстовцев, то для этого не нужно было бы даже садиться в воздушную

колесницу Спинозы, ибо они в своем неумении отличать большое от малого сплошь и рядом доходят до поразительных вещей.

Незадолго до ухода Толстого из Ясной Поляны, киевский студент М. обратился к нему с удивительным письмом. Недовольный противоречиями между личной жизнью и воззрениями Льва Николаевича, он предлагал Толстому немедленно покинуть семью. В самом этом факте еще нет ничего чрезвычайного; уж так завелось с восьмидесятых годов прошлого столетия, что каждый русский гражданин считал своим правом и обязанностью время от времени помогать советом Льву Николаевичу в трудных делах жизни. Такой, видно, был неопытный, беспомощный человек, что никак ему нельзя было обойтись без дельных руководителей и товарищеской помощи. Кто не давал Толстому советов, тот лез к нему со своими делами. К Льву Николаевичу обращались за указаниями морального и практического характера люди, страдавшие отрыжкой [1]), больные противоестественными наклонностями [2]), шпионы [3]) и т. д. «Погибшая овча аз есмь! Воззови мя, Спасе, и спаси мя!» взывал к Толстому какой-то фабричный врач [4]). — «Дай мне полный лексикон философий, купи и пришли... Неужели твое старое сердце ссохлос и ни почувствоит мольбы моей», — писал кто-то другой [5]). Льву Николаевичу давали полезные советы гимназисты, прошедшие курс самообразования, учившиеся в семинариях попы, сознательные фармацевты и патриотически настроенные юнкера: принципы Молчалина в свое время нас так глубоко возмутили, что из оппозиции к ним мы теперь смеем вслух свое суждение иметь даже о вещах, которые нас нисколько не касаются. Поэтому само по себе письмо г. М. не могло никого поразить. Но его тон и

---

[1]) Лев Николаевич и на это ответил старушке, которая обратилась к нему за рецептом.

[2]) В. Ф. Булгаков. У Л. Н. Толстого, стр. 319.

[3]) Там же, стр. 130.

[4]) Н. Н. Гусев. Два года с Л. Н. Толстым, стр. 274.

[5]) В. Ф. Булгаков. Цит. соч., стр. 67.

мотивировка были поистине удивительны. Г-н М. был, очевидно, совершенно убежден, что Лев Толстой обязан изменить свою жизнь для того, чтобы красота его, господина М., души засияла еще более чистым и кротким светом. Называя Льва Николаевича «голубчиком», рекомендуя ему «много раз прочесть письмо» и «подумать обо всем этом», г. М. взывал: «Откажитесь от графства, раздайте имущество родным своим и бедным, останьтесь без копейки денег и нищим пробирайтесь из города в город... Приходите тогда и в наш старый, добрый Киев, заходите ко мне, и я буду смотреть вам в глаза и на вашу седую бороду и наслаждаться тем, что вы дали первый росток, первый бутон для того, чтобы из него распустилось счастье, о котором у нас так много пишут, но которого никто еще не нашел»... Да, для этого, разумеется, Толстому было совершенно необходимо уйти из Ясной Поляны и притом именно в «наш старый, добрый Киев». Я не занимаюсь в настоящую минуту вопросом, было ли в письме г. М. то, что г. Наживин называет интеллигентским кривляньем». Допустим, что кривлянья не было. Но что же произошло? Лев Николаевич последовал совету, преподанному ему г. М. Он ушел из Ясной Поляны и величественно скончался в Астапове, исполнив все то, чего от него хотели строгие люди, вероятно, столь же требовательные и к самим себе. Я совершенно не знаю, что произошло с г. М. после ухода Толстого из Ясной Поляны; думаю, впрочем, что ничего особенного не произошло. Но если даже его душа окрылилась и поднялась на неделю двумя ступеньками выше, то всякий скажет, что это событие, не только sub specie aeterni, но и с какой угодно другой точки зрения, имеет довольно ограниченное значение. Неужели же г. М. не приходило в голову, что для достижения этого результата нельзя вмешиваться в жизнь такого огромного человека, как Толстой?

Как известно, Лев Николаевич был очень растроган письмом г. М. Это с одной стороны представляется невероятным: до последних дней жизни Толстой сохранил способность временами отрешаться от своей официозной

кротости и взором старого орла, насквозь пронизывающим душу, сверху вниз, как ему подобало, глядеть на малых и больших людей. Он знал цену своим корреспондентам и порою очень зло их вышучивал. В одну из таких минут, раздраженный непрошенными вмешательствами в свою жизнь, он писал: — «мне надо самому одному жить, самому одному и умереть». Если принять в расчет кроткий стиль Толстого, эти слова означали нечто вроде: «позвольте вам выйти вон». В одну из таких минут великий писатель не стал бы читать послания г. М. и отправил бы его в корзину, как целый ряд других писем такого же рода, немного менее патетических и немного более грубых. Но с другой стороны, оставаясь последовательным, Лев Николаевич ничего не мог возразить автору письма: он должен был растрогаться при его чтении хотя бы ex officio. Ведь он сам учил добрых три десятка лет, что только одно «размягчение», хотя бы минутное, есть вещь, а прочее все — гиль. Ведь если у толстовцев извращена перспектива, установленная самой жизнью, если они в большом видят малое, а в малом — большое, то этот противный природе результат мог быть достигнут лишь таким гигантом, как сам Лев Николаевич.

Весь этот эпизод имеет чисто показательное значение. Такие толстовцы, как, например, И. Ф. Наживин, конечно, не ответственны за письмо г. М. Но мысли их неизменно свидетельствуют о почти таком же извращении перспективы. Над всем тем, что признает культурное человечество, толстовцы ставят общий могильный крест; наука, искусство, общественная жизнь, политическая борьба равнодушно ими погребены на дне мрачной fosse commune неподдельного и абсолютного нигилизма. Кто знает, может быть, толстовцы правы: ведь в конце концов на вопрос: что есть истина? за две тысячи лет не последовало решающего ответа. Человечество по сию пору вертится между полюсами Нагорной Проповеди и Экклезиаста. Но что же дает толстовцам столь необычайную уверенность в собственной правоте? Или такое уж счастье принесло им их учение? Не Бог знает, как велико это счастье, не

Бог знает, как завидно душевное спокойствие толстовцев, если судить хотя бы по книгам г. Наживина, исполненным боли, гнева и раздражения. Да и что за критерий счастье?.. Почему не приходит им, толстовцам, в голову, что с мертвым они хотят закопать в могилу живое? Может быть, Французская Революция и свобода мысли, «Фауст» и «Война и Мир», принцип относительности и философия Шопенгауера имеют не меньшую самостоятельную ценность, чем те опыты душевной стерилизации, которым они предаются столь ожесточенно? Толстовцам ненавистна бактериология, вносящая «разврат материализма» и отчуждение в людскую среду. Но, быть может, это ужасное зло хоть немного покрывается открытиями Пастера, ежегодно спасающими жизнь сотням тысяч людей. Для толстовцев «никому ненужные пустяки» — теория Кларка Максвелля, изучая которую другой великий ученый задавал себе Фаустовский вопрос: «War das ein Gott, der diese Zeichen schrieb?» Но, быть может, усилие человеческой мысли, создавшее эту теорию, хоть отчасти способно сравниться с теми потугами, в которых толстовцы видят весь смысл человеческого существования? В своих обязательных дневниках они регистрируют эти потуги, свои нравственные под'емы и понижения, с педантичностью биржевого гоф-маклера или счетовода казенной палаты. «Число такое-то. Мучительно хотелось котлет, но превозмог свою плоть и ел вареники с творогом. Бодрое настроение весь день. Молился. Хорошо. Слава Богу». «Число следующее. Нынче в 8 час. вечера не удержался и с'ел полфунта убоины. Грустное сознание греха. Уныние. Тяжелые мысли. Господи, пошли мне сил бороться!» Это почти не каррикатура: дневник любого толстовца в сущности сводится к записям подобного рода. И эти люди убеждены (как они ни бранят себя для смирения), что вся мудрость мира улеглась в их мучительные потуги! Может быть, они похожи на Сократа и на Эпиктета, я не спорю; но они еще больше похожи на Ивана Ивановича, который тщательно регистрировал каждую дыню, которую он с'едал.

Как не видят они, эти духовные Танталы, что их мучительная работа есть хождение по кругу вокруг точки, ставшей в их сознании центром вселенной? В их делах нет творения, — лучшей радости, лучшей гордости, выпадающей на долю человека. Есть фикция творения, пресловутая «работа над собой». Но единственным ее результатом в девяти случаях из десяти остается измученный комок нервов, а в десятом — нечто условное и мгновенное, бесследно канущее в бездну, как только venit summa dies, как только Мопассановская гостья отдаст свой неизбежный визит... Они, толстовцы, лишены даже того удовольствия, которое у французов называется le beau rôle. Несмотря на свое профессиональное смирение, они всех, кто не с ними, считают безумцами, не ведающими, что творят, тогда как их противники, для которых смирение не обязательно, не участвуя в погребальном хоре толстовцев, хотя недоумевают и сторонятся, но отдают должное их бескорыстному, упорному стремлению к таинственному призраку добра.

IX

«Человек есть общественное животное», сказал старик Аристотель. Толстой, пожалуй, готов принять эту формулу; только он придает ей несколько своеобразный смысл. Он как будто говорит: в человеке общественно животное.

Вся жизнь Толстого, в особенности до «кризиса», была систематическим уклонением от общественной повинности[1]). Даже в эпоху своей веры в «прогресс» он от политики держался в стороне, и не просто в стороне, а как-то на свой особый лад. Ездил к Прудону, к Герцену

[1]) В 1880 г. Лев Николаевич писал Н. Н. Страхову: «Вам должно быть очень трудно воздерживаться от вихря политической жизни, который дует около вас. Я сидя в деревне и то не удерживаюсь и делаю величайшие усилия, чтоб он меня (не) сдул и чтоб я не сбивался с дороги» (Толстовский Музей, т. II, стр. 247—8).

и вместе с тем был, по словам Тургенева, «далеко не красный», свидетельствовал визитом почтение Лелевелю и в 1863 г. предполагал вступить в ряды действующей русской армии. В «Анне Карениной» Толстой ядовито высмеял двумя-тремя словами и «партию Бертенева (то есть Каткова), против русских коммунистов», и московских «честных людей (с ударением), способных при случае подпустить шпильку правительству», и Черняевских добровольцев, и либералов à la Голенищев, и славянофилов вроде Кознышева. Странно сказать, но отношение Толстого к политике в ту пору очень походило на тон, который был принят в доме князя Николая Андреевича Болконского, когда речь заходила о европейских событиях. Старый князь, как известно, «был убежден, что никаких политических затруднений не было в Европе, не было войны, а была какая-то кукольная комедия, в которую играли нынешние люди, притворяясь, что делают дело». Тот же тон веселого недоумения умел выдерживать по отношению к политике Толстой вплоть до конца 70-х годов (он порою впадал в него и гораздо позже). Это обстоятельство, кроме всего прочего, закрывало для него доступ к богатейшим художественным темам. Уже в грандиозном замысле «Войны и Мира» он мог отделаться от грозившей ему опасности только тем, что в нужную минуту написал слово «конец» и назвал эпилогом главу, которая, в сущности, представляла собой начало нового романа. Мы так и не знаем, что вышло из петербургской поездки Пьера Безухова, как сбылся вещий сон Николеньки Болконского и пришлось ли Николаю Ростову рубить во главе эскадрона своих лучших друзей по приказу Аракчеева. — «Тугендбунд», — говорит в эпилоге Денисов, — «я этого не понимаю, да и не выговорю... Не нравится, — так бунт». Бунта Толстой не написал; из его «Декабристов» ничего не вышло, несмотря на неоднократные возвращения автора к этому сюжету. Легко понять, что из подобной темы нельзя было изгнать политику или ограничиться ироническими стрелами, брошенными равномерно в разные концы: для художника было невозможно поместиться над Сенатской

площадью, не становясь ни на одну из ее сторон. Так мы и остались без «Декабристов» Толстого. А между тем фантазия с трудом представляет, какое чудо искусства мог создать из такого сюжета такой художник! Толстой, который знал себе цену, в котором, несмотря на все отречения, художественный инстинкт жил до последнего дня [1]), отлично это понимал. Он писал художественное о вреде водки, о фальшивом купоне, о чем угодно, но этой темы не коснулся; «вылизывал изнутри» психологию купца Брехунова, маркера Петрушки, лошади Холстомера, но оставил без внимания таких людей, как Пестель, Лунин, Рылеев, Бестужев, Орлов, Волконский...

Да и в самом деле, в политике одного шага не сделаешь с любимыми идеями Толстого. В политике нет ничего губительнее максим «нет в мире виноватых» или «все понять — все простить». В политике всегда должны быть виноватые, так как необходимо считать себя правым. В политике не ищут всей правды-справедливости и не заботятся о всей правде-истине, довольствуясь частью той и другой, облагая эту часть высоким налогом крови. В политике много говорят о небе, но действуют так, как если бы его не существовало.

Эту азбуку хорошо знают герои и толпа. Мудрость толпы создала для действия другие максимы, сквозь благочестие которых едва заметно проскальзывает легкий цинизм: — «На Бога надейся, а сам не плошай»; «береженого и Бог бережет», — говорит народная мудрость. Герои политического действия тоже отлично это знают. — «Мы, немцы, не боимся никого, кроме Бога», сказал в парламенте князь Бисмарк, и в тон ему победоносная Германия запела свою историческую песню: «надежная крепость — Господь». Одобрительно прислушиваясь к звукам песни, богобоязненный канцлер укрепил каждый клочек земли на Рейне и на Одере. — «Политика подобна лесоводству», — говорил тот же герой действия: — «в ней собирают то, чего не сеяли, сеют то, чего не соберут». Не менее опре-

[1]) За месяц до смерти Лев Николаевич говорил г. Булгакову: «Буду читать Мопассана. Мне предстоит большое наслаждение».

деленно выражался и Наполеон: «En fait de système, il faut toujours se réserver le droit de rire le lendemain de ses idées de la veille».

Где уж тут думать о правде? Арестантка-старостиха в «Воскресении» очень благодушно замечает Катюше Масловой: «правду-то, видно, боров сжевал». О всем нашем общественном строе Толстой, в сущности, сказал то же самое, что арестантка, только без ее философского спокойствия. Правду, которую сжевал боров выгоды, ненависти, злобы, ожесточения, Толстой воссоздал за письменным столом своей рабочей комнаты; он верил, что истина, творимая в Ясной Поляне, может изменить природу человека и строй современной жизни. Поразительна эта способность веры в силу своего слова, присущая писателям Божьей милостью! Глядя на тлеющие развалины Тюльери, Флобер угрюмо говорил в 1871 г.: «Et cela ne serait pas arrivé si l'on avait compris l'Education sentimentale». Мало ли сходных сцен прошло перед глазами великого русского мыслителя! Не мог же он не видеть, что не только дела, но мнения, симпатии человечества устояли перед проповедью Ясной Поляны: вся диалектика Толстого не убавила ни славы Наполеона, ни славы Шекспира. Нет ничего неблагодарнее роли богоборца. А здесь Толстой посягал на могущественнейшего из богов, — на государственность, притом во всех ее формах: отживших, нынешних и тех, о которых поет сладкая немецкая Zukunftsmusik. Здесь между ним и «консерватором» Паскалем лежит глубочайшая пропасть. — Чтобы люди могли жить, — говорит Толстой, — надо силою слова уничтожить несправедливые государственные учреждения. — Чтобы люди могли жить, — говорит Паскаль, — надо уверить их, что государственные учреждения справедливы. Толстой-моралист переоценивает человеческий разум, Паскаль — человеческую глупость. Оба, если угодно, утописты. Но Паскаль, по крайней мере, не впадает в путы непротивления злу насилием: «La violence et la vérité ne peuvent rien l'une sur l'autre», говорит он, и в свете этой глубокой истины призрачность толстовского полити-

ческого учения представляется особенно ясной. Помнится, Императрица Екатерина в одну из либеральных пятниц своей недели убеждала сына в том, что насилие не устоит в борьбе с людьми идеи. Радищев и Новиков могли бы, пожалуй, увидеть в этом утверждении некоторую игру ума. Другой политический деятель говорил, что штыками можно сделать все, что угодно, но нельзя на них сидеть. Мы знаем, однако, немало примеров долголетнего и весьма комфортабельного сидения на штыках. Насилие не может заглушить голос истины, если последняя раз досталась в руки «двадцати пяти солдат Гутенберга». Но истина an und für sich тоже ничего не поделает с насилием. «Революция есть идея, нашедшая для себя штыки», сказал компетентный человек Наполеон, и в этом вопросе оба, как мы видим, совершенно сошлись: Паскаль, знавший цену идеям, и Наполеон, знавший цену штыкам. Обоих одинаково трудно было бы склонить к доктрине непротивления злу насилием.

В сущности, это фикция: «противление злу», «противление злу насилием», — bonnet blanc, blanc bonnet. Если не насилием, то чем же? Словом? Точно слово не есть могущественное орудие насилия. Современная юридическая мысль не умеет отграничить резкой чертой словесное преступление от преступления фактического и в данном случае — что бывает не часто — философская мысль идет в согласии с юридической. Автор «Не могу молчать» и выпущенных в русском издании отрывков «Хаджи-Мурата» прекрасно это понимал; и правительство, так щедро сыпавшее на его книги арестами, конфискацией, извлечениями, тоже вполне ясно это понимало. Не всегда слова Толстого были проникнуты кротостью, да и кротость его, правду сказать, напоминает покаяния Іоанна Грозного. В сущности, не много кротости и в самой теории непротивления злу насилием. Психология этой теории такова: один человек говорит другому: — ты не можешь меня обидеть; что̀ бы ты со мной ни сделал, я не только не унижусь до отплаты той же монетой, я вовсе не обращу внимания на твои поступки. Прошу тебя об одном: если можешь, оставь

меня в покое. Мне не до тебя. — Где тут кротость? Это даже не самое кроткое выражение ее отсутствия.

Тому, кто вечно видит перед собой призрак абсолютной правды, нелегко заниматься политической деятельностью. «Все или ничего» — никуда негодный политический лозунг, потому что он необходимо и весьма быстро сводится к второй альтернативе — ничего. С этим лозунгом нельзя жить, да и писать очень трудно, о чем свидетельствует история «Хаджи-Мурата». Когда Толстой, отдавшись непосредственному чувству, написал ту часть повести, которая выпускается в русских изданиях, из-под его пера вышло нечто не только совершенно невозможное с точки зрения властей, но недопустимое по существу толстовской доктрины. Ведь по ней обязательно все понять и все простить, а здесь автор все понял, читатель все понял, а простить не согласен ни тот, ни другой. И эти главы повести явились одним из самых мучительных преткновений литературной карьеры Толстого. Мы здесь не станем касаться наиболее интересных моментов в истории политических отрывков «Хаджи-Мурата»; маленький эпизод можно, однако, привести. В первоначальной рукописи повести имелась небольшая, но выразительная характеристика Александра Чернышева. Толстой привел известную шутку, которой, по его выражению, «заклеймил» этого печальной памяти исторического деятеля Ростопчин. Как известно, участвуя в суде над декабристами, Александр Чернышев особенно старался погубить Захара Чернышева, чтобы овладеть его имениями. Ростопчин высказался за передачу имений сосланного декабриста Александру Чернышеву, мотивируя свое мнение тем, что по старинному обычаю палач всегда получает кушак и шапку казненного. Но, рассказав этот эпизод, Толстой, очевидно, усомнился в способности читателей простить (понять здесь очень легко) и предпочел вычеркнуть его из повести, чтобы не скрепить своим авторитетом Ростопчинское клеймо. Если бы Толстому пришлось самому печатать «Хаджи-Мурата», он, вероятно, выпустил бы и многое другое, так как политические отрывки этой повести в посмертном

заграничном издании производят впечатление весьма сильное и вряд ли соответствующее целям толстовства: вместо «все понять — все простить» читатель усваивает начала русской политической азбуки, которые еще Пушкин сто лет тому назад упорно и тщетно старался втолковать Карамзину.

Но с людьми, посвятившими свой век проведению в жизнь начал этой азбуки, Толстому все же было не по дороге. Готовые, не по мерке шитые мировоззрения всегда были органически чужды природе Льва Николаевича; вера во всеобщее, равное, прямое и тайное избирательное право так же мало могла пустить корни в его уме, как вера в плащ Магомета или в чудеса Лурдской пещеры. — «Его нисколько не интересовали», — говорит В. А. Маклаков в своей блестящей речи «Л. Н. Толстой, как общественный деятель», — «попытки улучшения государственного механизма, борьба за политические реформы; он был равнодушен к каким бы то ни было политическим теориям». При всем желании разработать свою тему полнее, В. А. Маклакову удалось отметить лишь очень немного моментов «общественной деятельности» Толстого (помощь голодающим, духоборам, борьба со смертной казнью). Я думаю даже, что было бы гораздо легче сказать речь на тему «Толстой, как противообщественный деятель», разумеется, придавая этим словам только буквальное значение. «Общество» в политическом смысле слова Толстой ценил приблизительно так же высоко, как «общество» в смысле большого света. В его описании оба «общества» из года в год играют, как шарманка, одну и ту же заученную глупую песенку, в которой за столетие не меняется ни единой ноты. В «Войне и Мире» на именинах Наташи Ростовой гости говорят о «la comtesse Apraksine» (IV, 36). В «Анне Карениной» у госпожи Боль, к которой с визитом заезжает Левин, говорят снова о графине Апраксиной (IX, 213). Наконец, в «Воскресении» у Масленниковых опять-таки темой разговора служит Apraksine (XI, 151). За те же сто лет не изменилась и тема политических разговоров. О чем в 1820 г. спорили консерватор

Николай Ростов и либерал Пьер Безухов, доказывавший, что «все слишком натянуто и непременно лопнет» («как с тех пор, как существует правительство... всегда говорят люди»), о том в 1856 г. болтают «журналы, развивающие европейские начала на европейской почве, но с русским миросозерцанием, и журналы исключительно на русской почве, развивающие русские начала, однако, с европейским миросозерцанием» («Декабристы»); и об этом же самом рассуждают в 1905 г. получающий большое жалованье гость-петербуржец, «известный либеральный деятель, участвовавший во всех комитетах, комиссиях, подношениях, хитро составленных, как будто верноподданнических, а в сущности самых либеральных адресах», и владелец многих тысяч десятин земли Николай Семенович, «чисто русский человек, православный, с оттенками славянофильства», верующий в «решения мира» и в «особенные свойства русского народа» («Ягоды»)... Много истинного презрения к людям скрыто и в этой тонкой, убийственной иронии, и в непротивлении злу насилием, и во всей высокомерной кротости Л. Н. Толстого.

«Мне надо самому одному жить, самому одному и умереть», писал Толстой. Он всю жизнь был верен этой программе. Он жил один, хотя в течение полувека был душою русского общества. Он умер один, хотя в Астаповское «уединение» за ним последовала семья, шесть врачей, полсотни журналистов и представители фирмы Патэ (ведь смерть знаменитого человека для публики такое же развлечение, как премьера модной пьесы) [1]). Последние годы его жизни были для России годами кровопролитной бессмысленной войны и самой злосчастной из революций, — идеи, не нашедшей штыков; для всего мира они были временем милитаризма, классовой и национальной ненависти. Он смотрел на это зрелище со смешанным чувством жалости и

[1]) «Миллионы людей страждут на свете кроме Льва Толстого. Зачем же вы все собрались вокруг одного Льва», сказал на смертном одре великий писатель. Может быть, в его последних словах, кроме скорби о миллионах страдальцев, прорвалась и жалость к самому себе, ко Льву, вечно и всюду преследуемому людьми.

презрения. Не спокойствие мудреца, а сосредоточенная, ушедшая в себя скорбь отразилась на последнем портрете Толстого, положив на него отпечаток несравненного благородства. Он — точно живой образ «Ночи», которую создал Микель-Анджело в худшую эпоху Флоренции:

Grato m'è 'l sonno e più l'esser di sasso,
Mentre che 'l danno e la vergogna dura.
Non veder, non sentir m'è gran ventura;
Però non mi destar, deh! parla basso!

X

И все-таки Толстой — колоссальное явление в истории русской политики. Вместе с Герценом он был первый свободный гений России; среди великих людей русской литературы, быть может, ему первому нечего замалчивать и нечего скрывать.

Пушкин писал шефу жандармов Бенкендорфу письма, которые нельзя читать без чувства унижения и боли. Он мог написать «Стансы», когда кости повешенных декабристов еще не истлели в могиле; одобрял закрытие «Московского Телеграфа», ибо «мудрено с большей наглостью проповедывать якобинизм перед носом правительства»; после пяти лет «славы и добра» написал «Клеветникам России» и в то же время корил Мицкевича политиканством. Он брал денежные подарки от правительства Николая I, просил об увеличении этих «ссуд», прекрасно зная, какой ценой они достаются: «Теперь они смотрят на меня, как на холопа, с которым можно им поступать, как угодно», писал он жене после одной из таких ссуд. И все-таки пел гимны, которым, впрочем, даже не старался придать хотя бы художественное достоинство [1]).

[1]) . . . «И светел ты сошел с таинственных вершин,
И вынес нам свои скрижали.
И что ж? Ты нас обрел в пустыне под шатром,
В безумстве суетного пира,
Поющих буйну песнь и скачущих кругом
От нас созданного кумира».

Так ли писал Пушкин, когда писал для вечности? Только традиционное истолкование генезиса этих стихов делает сколько-нибудь понятным их Кукольниковский стиль.

Жуковский написал свою отвратительную статью о смертной казни, называл декабристов сволочью.

Гоголь жил в настоящем смысле слова подачками правительства, ходатайствуя о них через III отделение [1]).

Гордый красавец, прославленный умом и талантами Чаадаев, признанный сумасшедшим и отданный под надзор психиатров [2]) за свое знаменитое письмо, — «выстрел в темную ночь», не задумался на старости лет, прочитав восторженный отзыв о себе в «Былом и думах» Герцена, написать шефу жандармов Орлову: «наглый беглец, гнусным образом искажая истину, приписывает нам собственные свои чувства и кидает на имя наше собственный свой позор». Эта выходка была даже не нужна; Жихарев назвал ее «une bassesse gratuite» в глаза Чаадаеву, в ответ на что последний, «помолчав с полминуты, сказал: «Mon cher, on tient à sa peau».

Славянофилы совершенно откровенно доносили правительству на того же Чаадаева. Известное стихотворение Языкова иначе и назвать нельзя, как рифмованным вариантом донесения Вигеля:

Свое ты все презрел и выдал,
И ты еще не сокрушен...

Некрасов написал свои ужасные стихи Муравьеву...

Большие люди не нуждаются ни в защите, ни в снисхождении. Они велики, независимо от «неверных звуков», — и слава Богу! Но если бы это было и не так, то где же сказать, как не над печальными страницами истории русской литературы: saeculi ignominia non hominis? Век был настолько ужасен, что и не такие вещи можно и должно простить, допуская, что у кого-либо нашлась

---

[1]) См. Мих. Лемке. Николаевские жандармы, Спб. 1908 г., стр. 134—6.

[2]) «. . . Более циничного издевательства торжествующей физической силы над мыслью, над словом, над человеческим достоинством не видела даже Россия», говорит об этом эпизоде М. О. Гершензон. (П. Я. Чаадаев, СПБ., 1908, стр. 137).

бы смелость произвести себя в судьи. «Mon cher, on tient à sa peau» — достаточно убедительный ответ. Но тем выше подымаются в глазах потомства гениальные люди, которым нечего прощать. Л. Н. Толстой — величайший из таких людей в истории русской литературы[1]).

За всю свою жизнь он не сказал власти ни одного слова, которое не было бы проникнуто независимостью и достоинством. Никогда, ни в какую пору жизни, ни при каких обстоятельствах он не мог делать и не делал того, перед чем не останавливались другие. Мыслимо ли вообразить Толстого получающим деньги от правительства за свои книги, как Пушкин или Гоголь? Можно ли допустить, чтобы он писал власть имущим письма вроде тех, которые приходилось писать Чаадаеву, Достоевскому? Или представить себе, что он, как Некрасов, с бокалом шампанского в руке декламирует приветствие Муравьеву? Или вообразить Толстого цензором, как Аксаков, Тютчев, Гончаров? Признаюсь, я легче могу представить себе Спинозу полицейским приставом или Канта содержателем ссудной кассы.

Говорят, что Толстой один в России был застрахован от всяких посягательств власти. Но чем же он был застрахован? В 80-х годах его, по словам биографов, спасли от ссылки в Суздальский монастырь родственные аристократические связи. Это очевидно неудовлетворительное об'яснение. Пушкин был не менее родовитый человек, чем Толстой. Чаадаев, воспитанник екатерининского вельможи, с первой молодости близкий ко двору, принимавший у себя на Новобасманной все, что только было знатного в Москве, хороший знакомый Закревского, Василькова, Орлова, имел, конечно, более надежные и широкие связи. Однако, с ним, как с Пушкиным, не церемонились. Дело, очевидно, не в связях и протекциях.

[1]) Русская политическая история первой половины 19-го века может, конечно, с гордостью указать людей, которые представляются самим воплощением достоинства и независимости. Достаточно назвать Николая Бестужева, Лупина, Якушкина. Но в ту пору сохранить незапятнанность в литературе, вечно оценивающей жизнь, было еще труднее, чем в самой жизни; сам Белинский, при всей своей суб'ективной кристальной чистоте, впадал в грехи, или, по крайней мере, в тяжелые ошибки,

В. А. Маклаков в своей уже мною цитированной речи дает другое об'яснение своеобразной неприкосновенности Толстого, пользуясь красивым образом, взятым из «Князя Серебряного»: Когда Иоанн Грозный замахнулся копьем на Василия Блаженного, то народ, безмолвно смотревший на казнь царских ослушников, загудел: «Не тронь, в наших головах ты волен, а его не тронь! И Грозный опустил руку, он не решился посягнуть на того, в ком было утешение, отрада народа». Так и с Толстым: «государство», говорит В. А. Маклаков, «как воплощение народной мощи, почтительно останавливалось перед этим бессильным старцем, как воплощением народного гения, народной славы, народной любви». Полно, так ли? Плохая защита — народная любовь: всемирная история достаточно засвидетельствовала правду скорбной иронии Гейне:

Nimmer hätt' ich dir geraten,
So zu sprechen vor dem Volke,
So zu sprechen von den Pfaffen
Und von hohen Potentaten!
Teurer Freund, du bist verloren!
Fürsten haben lange Arme,
Pfaffen haben lange Zungen,
Und das Volk hat lange Ohren!

«Воплощение народной мощи» никогда не отличалось особой почтительностью: и Пушкин воплощал в себе народный гений, народную славу... К тому же, Толстой в 80-х годах, когда над ним сгустились особенно мрачные тучи, еще не был признан тем, чем он стал в конце своих дней, — драгоценнейшим сокровищем, величайшей гордостью нации. Тогда он был только знаменитый писатель, а этот титул в России никогда никого не гарантировал от «заточения свободной жизни», как выражается прохожий в пьесе «От ней все качества».

Толстой импонировал власти не тем, что на нем сосредоточивалась народная любовь, или во всяком случае не одним этим. Во всей его фигуре в наиболее кроткие вре-

мена было что-то такое, что внушало самым бесцеремонным людям уважение, смешанное с робостью. Так князь Андрей Болконский умел осаживать представителей власти, не говоря резкостей, как в беседе с Аракчеевым, или даже не произнося ни одного слова вообще, как при встрече с Бергом на смоленском пожарище.

— «Вы чего просите? — спросил Аракчеев.

— Я ничего не... прошу, ваше сиятельство, — тихо проговорил князь Андрей.

Глаза Аракчеева обратились на него.

— Садитесь, — сказал Аракчеев. — Князь Болконский?

— Я ничего не прошу»...

Не в этом ли часть секрета? На всем облике Толстого читалась холодная, равнодушная надпись: не подкупите. Не о деньгах, конечно, тут идет речь, — ими не купишь очень многих. . . . .

. . . .

Политическая заслуга Л. Н. Толстого не замыкается в пределах России: он во всем мире поднял до небывалой высоты достоинство писательского звания. Другой писатель-граф, Вилье-де-Лиль-Адан, говорил, что в наши дни единственная подлинная слава это слава литературная. Благодаря примеру Толстого мысль Вилье перестала казаться смешным преувеличением. Нет такого писателя, большого или малого, который при воспоминании об авторе «Хаджи-Мурата» не испытывал бы чувства профессиональной гордости. История может назвать еще несколько людей, которые единственно силой пера заняли в мире при жизни положение, сходное с положением Толстого: Вольтер, Гете... других, кажется, нет. Но в смысле независимости и собственного достоинства им до Льва Николаевича бесконечно далеко.

Вольтер, царь мысли 18-го века, в буквальном смысле слова пресмыкался перед сильными мира, засыпал их в письмах лестью поразительной, непонятной грубости. Он уверял Екатерину, что она ученее всей Академии Наук,

вместе взятой, клялся, что при взгляде на ее портрет глаза его наполняются удивлением, а сердце восторгом, говорил, что его мечта — быть похороненным в каком нибудь уголке Петербурга, откуда он мог бы смотреть, как она ходит под сенью триумфальных арок, увенчанная лаврами и оливковыми ветвями[1]). Он млел от восторга, слушая французские вирши Фридриха, над которыми хохотал в своей компании; получал от их автора жалованье и с полной готовностью присутствовал при сожжении одной из самых блестящих своих сатир в камине просвещенного короля; за глаза называл Фридриха не иначе, как Люком, — по имени своей сварливой обезьяны, а в глаза и в своих великолепных, бесстыдных письмах величал его Северным Соломоном... В сущности, Вольтер даже не подличал в письмах подобного рода: веселые нравы веселого пира перед чумой — 18-го века — вполне допускали этот ныне выводящийся литературный жанр.

Гете не таков. Ему бы в голову не пришло грубо до наглости льстить сильным мира в глаза, издеваясь над ними за глаза. Но он любил аттрибуты их величия наследственной любовью, всеми инстинктами старинного немецкого бюргера. Получив от Карла-Августа звание тайного советника, Гете искренно до наивности чувствовал себя «как во сне», — «so wie im Traum». Он очень приятно коротал вечера в замке своего покровителя, но в 1806 г. с полной готовностью проводил в этот замок авангард Наполеоновской армии, огорчаясь во французском нашествии главным образом тем, что поставленные в его доме солдаты причинили ему много беспокойства и на 2 тысячи талеров расхода. Он прекрасно ладил с Карлом-Августом, но так же хорошо поладил с Наполеоном; поладил бы, вероятно, и с Лафайетом, хотя революционеров недолюбливал:

Alle Freiheitsapostel, sie waren mir immer zuwider,
Willkür suchte doch nur jeder am Ende für sich.

---

[1]) Lettres de Voltaire, 1773—1775.

Гете нужен был для спокойствия комфорт, а для комфорта сильные мира, и, чтобы угодить последним, он, применяясь к обстоятельствам, очень охотно писал пьесы вроде «Der Bürgergeneral», высмеивающие Великую Революцию, значение идей которой он прекрасно понял и оценил.

Все эти мелкие черты совершенно отсутствуют в Л. Н. Толстом.

Покойный Н. К. Михайловский в своей статье о Глебе Успенском дал следующее определение понятий «чести» и «совести». «Совесть», говорит он, «требует сокращения бюджета личной жизни и потому в крайнем своем развитии успокаивается лишениями, оскорблениями, мучениями; честь, напротив, требует расширения личной жизни и потому не мирится с оскорблениями и бичеваниями. Совесть, как определяющий момент драмы, убивает ее носителя, если он не в силах принизить, урезать себя до известного предела; честь, напротив, убивает героя драмы, если унижения и лишения переходят за известные пределы. Человек уязвленной совести говорит: я виноват, я хуже всех, я недостоин; человек возмущенной чести говорит: передо мной виноваты, я не хуже других, я достоин. Работе совести соответствуют обязанности, работе чести — права»[1]).

Толстой, бесспорно, образец человека «совести». В его художественных творениях честь представлена, кажется, только Андреем Болконским, да еще революционером Меженецким в рассказе «Божеское и Человеческое»; совесть, напротив, насчитывает целый ряд представителей во главе с излюбленным героем Толстого Нехлюдовым. Равным образом, в публицистике и в личной жизни великого писателя элементы совести совершенно подавляют честь (разумеется, в том значении этого слова, которое придавал ему Михайловский). Однако, всякий раз, когда Толстому приходилось сталкиваться с представителями власти или сводить с ними в романах людей, пользующихся его симпа-

---

[1]) Н. К. Михайловский, Сочинения. СПБ. 1897, т. V, стр. 115.

тиями, совесть отлетала мгновенно и бесследно, уступая место резко выраженной чести. В этом отношении Нехлюдов почти не отличается от князя Андрея Болконского.

Когда герой «Воскресенья» получил деловое письмо от вице-губернатора Масленникова за подписью «любящий тебя старший товарищ», под которой «был сделан удивительно искусный, большой и твердый росчерк», он выразился очень лаконически и совершенно не по толстовски: «—Дурак! — не мог удержаться не сказать Нехлюдов, особенно за то, что в этом слове «товарищ» он чувствовал, что Масленников снисходил до него, то есть, несмотря на то, что считал себя очень важным человеком, думал, если не польстить, то показать, что он все-таки не слишком гордится своим величием, называя себя его товарищем».

И не только Болконский, не только Нехлюдов, но и Вронский, представляющий не честь и не совесть, а лишь одно безукоризненное «comme il faut», которое когда-то нравилось Л. Н. Толстому, чувствовал себя очень нехорошо, будучи приставлен к приехавшему в Петербург иностранному принцу. Принц «был ровен и неискателен с высшими, был свободен и прост в обращении с равными и был презрительно добродушен с низшими. Вронский сам был таковым и считал это большим достоинством; но в отношении принца он был низший, и это презрительно-добродушное отношение к нему возмущало его.

«Глупая говядина!..» думал он.

Напротив, в людях, явно антипатичных Толстому, он, где только было можно, подчеркивал черту, прямо противоположную той, которая вырисовывается в приведенных выше отрывках.

Вице-губернатор, «дурак» Масленников, при встрече с Нехлюдовым оказался «в особенно-радостном возбуждении, причиной которого было оказанное ему внимание важным лицом. Всякое такое внимание приводило Масленникова в такой же восторг, в который приходит ласковая собачка, после того как хозяин погладит, потреплет, почешет ее за ушами. Она крутит хвостом, сжимается, извивается,

прижимает уши и безумно носится кругами. То же самое был готов делать Масленников».

Та же угодливость подчеркнута в характере Берга, Друбецкого, графа Чарского, Алексея Александровича Каренина. Этот последний на скачках «подходил к беседке, то снисходительно отвечая на заискивающие поклоны, то дружелюбно, рассеянно здороваясь с равными, то старательно выжидая взгляда сильных мира и снимая свою круглую большую шляпу, нажимавшую кончики его ушей. Она (Анна) знала все эти приемы, и все они ей были отвратительны».

Они отвратительны и самому Л. Н. Толстому. В данном случае биографический материал гораздо характернее, чем данные художественных произведений великого писателя. К сожалению, этого материала нельзя использовать... Любопытно, что, излагая в самых общих чертах биографию своих ближайших предков, Лев Николаевич не забыл отметить в них черту независимости, которая так сильно была развита в нем самом.

«Про деда» (князя Н. С. Волконского), рассказывает Толстой с видимым удовольствием, «я знаю то, что, достигнув высоких чинов генерал-аншефа при Екатерине, он вдруг потерял свое положение вследствие отказа жениться на племяннице и любовнице Потемкина Вареньке Энгельгардт. На предложение Потемкина он отвечал: «С чего он взял, чтобы я женился на его б...». За этот ответ он не только остановился в своей служебной карьере, но был назначен воеводой в Архангельск, где пробыл, кажется, до воцарения Павла, когда вышел в отставку»... (I, 257).

По нашим теперешним понятиям о чести, предложение, сделанное князю Потемкиным, было, действительно, своеобразное и ответ Волконского вряд ли кого удивит. Но в ту эпоху дело представлялось совершенно иначе; та же Варенька Энгельгардт прекрасно вышла замуж за человека, носящего другую знаменитую фамилию, — за князя С. Ф. Голицына, который по этому случаю получил множество наград и отличий. При таких условиях ответ Н.

С. Волконского свидетельствует об исключительной в данном кругу щепетильности в вопросах чести, и опала князя представляется вполне естественным результатом его необычайной дерзости. Этот самый дед Льва Николаевича послужил, как известно, прообразом для старого Болконского в «Войне и Мире», который велел специально закидать снегом дорогу в своей усадьбе, расчищенную дворовыми для проезда министра Курагина.

— «Что? Министр? Какой министр? Кто велел? — заговорил он (князь Болконский) своим пронзительным, жестким голосом. — Для княжны, моей дочери, не расчистили, а для министра! У меня нет министров!.. прохвосты!.. закидать дорогу!..»

«Мой отец», рассказывает с таким же удовольствием Лев Николаевич, «...как большая часть людей первого Александровского времени и походов 13, 14, 15 годов, ...был не то, что теперь называется либералом, а просто по чувству собственного своего достоинства не считал для себя возможным служить ни при конце царствования Александра I, ни при Николае. Он не только не служил нигде, но даже все друзья его были такие же люди свободные, не служащие и немного фрондирующие правительство Николая Павловича. За все мое детство и даже юность наше семейство не имело близких сношений ни с одним чиновником. Разумеется, я ничего не понимал этого в детстве, но я понимал то, что отец никогда ни перед кем не унижался, не изменял своего бойкого, веселого и часто насмешливого тона. И это чувство собственного достоинства, которое я видел в нем, увеличивало мою любовь, мое восхищение перед ним». (I, 262-3).

Приведенная характеристика до известной степени относится к довольно большому периоду жизни самого Льва Николаевича; у него это чувство собственного достоинства на английский манер иногда облекалось в весьма своеобразные и воинственные формы. Когда в 1862 г. в доме Толстого, в отсутствие последнего, по случайному поводу жандармы произвели обыск, Лев Николаевич бы так возмущен, что решил навсегда покинуть Россию. «Выхода мне

нет другого», писал он, «как получить такое же гласное удовлетворение, как и оскорбление (поправить дело уже невозможно), или экспатриироваться, на что я твердо решился. К Герцену я не поеду; Герцен сам по себе — и я сам по себе. Я и прятаться не стану, а громко об'явлю, что продаю имение, чтобы ехать из России, где нельзя узнать минутой вперед, что тебя ожидает»... В конце письма «сообщая о том, что жандармский полковник, уезжая, пригрозил новым обыском, пока не найдут, «ежели что спрятано», — Лев Николаевич добавляет: «У меня в комнате заряжены пистолеты, и я жду, чем все это разрешится» [1]) ...

Неправда ли, этот рассказ звучит довольно дико? Точно в самом деле действие происходит в Англии, конституция которой разрешает гражданам пускать в ход оружие для защиты от незаконных вторжений полиции. Где же видано, чтобы мирный российский гражданин намеревался пустить в ход пистолеты против господ в мундирах небесного цвета, производящих у него обыск? Никому из современников Толстого, наверное, не пришло бы в голову требовать в подобном случае «гласного удовлетворения» или грозить правительству эмиграцией, хотя бы и не к Герцену [2]). Впоследствии чувство собственного достоинства приняло у Толстого несколько иную форму. Понятие это и вообще растяжимо. Даже граф Чарский или Каренин были бы, вероятно, весьма удивлены, если бы им сказали, что они лишены чувства собственного достоинства. Да у них и в самом деле есть особый род бюрократической чувствительности, который тоже называют достоинством: случись с ними какая нибудь обидная неприятность в служебном производстве, они подадут в отставку. С другой

---

[1]) Бирюков. Цит. соч., т. I., стр. 462.

[2]) Еще удивительнее то, что Толстой, повидимому, получил тогда желаемое «гласное удовлетворение». Впрочем, 10 годами позднее Лев Николаевич, как известно, снова собрался эмигрировать: «Я все продам в России и уеду в Англию, где есть уважение к личности всякого человека, а у нас всякий становой, если ему не кланяются в ноги, может сделать величайшую пакость» (там же, т. II, стр. 238).

стороны, современный человек щепетильность князя Н. А. Болконского и его прообраза, князя Н. С. Волконского, назовет не собственным достоинством, а сословной гордостью, имеющей определенную историческую форму и определенные границы. Тот же князь Болконский, приказавший засыпать снегом дорогу, расчищенную для министра, в одной из самых удивительных по художественному совершенству сцен «Войны и Мира» так вспоминает ночью свою молодость: «ему представился Дунай, светлый полдень, камыши, русский лагерь, и он входит, он — молодой генерал, без одной морщины на лице, бодрый, веселый, румяный, в расписной шатер Потемкина, и жгучее чувство зависти к любимцу, столь же сильное, как и тогда, волнует его».

Князя Андрея, который является носителем современных понятий чести, уже очень мудрено представить себе завидующим «любимцу». А сам Л. Н. Толстой, живший последние годы по календарю 21 века, теоретически не найдет, пожалуй, настоящего достоинства и в князе Андрее. Но в сущности различие между ним и князем Андреем в данном случае очень невелико.

Между совестью Толстого и средней совестью людей нашего времени — огромная дистанция. Толстой называл братом Азефа, ласково отвечал той милой даме, «русской матери», которая прислала ему по почте намыленную веревку с деликатным письмом, старался любить крыс, серьезно скорбя о том, что их любить трудно. До этой ступени совести современному человечеству очень далеко; здесь различие даже не количественное, а качественное: это какая-то новая форма практической морали. Но для чести Толстой не нашел новой формы; он искал ее в гипертрофированной совести, а там ее нет, и это — большая трагедия. Чувство чести не мирится ни с ангельской кротостью, ни с подставлением другой щеки. Ему не должно быть места в обиходе сторонников толстовства. Но Лев Николаевич своей жизнью доказал, что оно все таки туда входит и почти в той самой форме, в которой честь проявляется у князя Андрея Болконского. Жизнь сплошь

и рядом ставит людей в такое положение, когда неминуем конфликт между гипертрофированной совестью, требующей подставления другой щеки, и элементарной честью, запрещающей принимать удары даже по первой щеке. Тогда в спор властно вмешивается эстетика, — и победа обеспечена чести в сердце живого человека.

XI

В воспоминаниях гр. И. Л. Толстого [1]) есть рассказ о литературной забаве, которая в свое время происходила в Ясной Поляне. Всякий из участвовавших должен был письменно высказать свой идеал. Когда очередь дошла до Льва Николаевича, он ответил: — «сжечь все, чему поклонялся, поклониться всему, что сжигал»... Как странно! Люди вообще боятся кризисов; человека, меняющего убеждения, клеймят обидным прозвищем ренегата. О, конечно, тут есть оттенки: для реакционеров ренегат — Белинский, а Катков — честно эволюционировавший ум; для либералов — наоборот. Но для всех перемена убеждений составляет неприятную страницу жизни. В автобиографиях ее обыкновенно затушевывают, в биографиях сопровождают отпущением греха. А вот Лев Николаевич перемену убеждений открыто ставит в заслугу, больше того, уверенно относит ее к недосягаемой области идеала.

Да и в самом деле, прекрасное зрелище — ауто-да-фе, устроенное Толстым в эпоху кризиса. Мощный ум сбрасывает с себя одну за другой столетиями кованные цепи, которые тяготят его, как тяготят всех живущих людей — больших и малых. То, с чем связаны десятки лет жизни, то, к чему обязывают могилы предков и живые образы ближних, все, все приносится в жертву богу истины, все подвергается беспристрастному, беспощадному анализу. Стремительный поток мысли прорвал плотину предрассудков и слепых верований. Никогда еще принцип Декартов-

[1]) «Русское Слово» за 1913 г.

ского сомнения не проводился в жизнь с такой неумолимой последовательностью [1]).

Мы приурочиваем кризис Толстого к концу семидесятых и началу восьмидесятых годов. Впрочем, критика давно уже указала, что на самом деле он начался гораздо раньше. Как вулканическим переворотам предшествуют медленные процессы, протекающие в недрах земли, так и кризисам великих людей предшествуют годы интенсивной, хотя и мало заметной, душевной работы. Толстой же вдобавок отличался особой медленностью этих подготовительных реакций. Для того, например, чтобы освободиться от детской веры, ему предварительно оказалось нужным года три исполнять все мельчайшие ее предписания. Любой гимназист достигает того же результата в один день, прочтя томик Писарева или Бюхнера. Таким образом, можно с известным правом сказать (да это и говорилось в литературе), что кризис намечался уже в первых произведениях Толстого. Вопрос в том, когда он окончился. В сущности, вся жизнь великого писателя представляла собой сплошной кризис, который в начале восьмидесятых годов принял лишь наиболее острую форму. В эти годы изменились социальные воззрения Толстого, а они всегда заметнее других. Да и переход здесь был уж очень резкий: индифферентный с оттенком консерватизма русский помещик стал «левее»» левейших потрясателей основ [2])... Но трудно допустить, что душевный рост автора «Крейцеровой Сонаты» получил окончательную, неизменную форму за четверть века до его кончины. Зная Л. Н. Толстого, зная его прошлое вечной душевной борьбы, вечных исканий, вечных увлечений, вечного недовольства, можно ли предположить, чтобы по-

---

[1]) Я здесь имею в виду Толстого, как догматического мыслителя и социолога.

[2]) Так, по крайней мере, утверждает знаменитейший представитель современного социализма: «Толстой», говорит Жорес, «был в известном смысле новатором необычайной силы, по сравнению с которой революционный социализм кажется робким и рутинным» (Jean Jaurès. Tolstoï. Les Droits de l'Homme, 12 Mars 1911).

следние 25 лет его жизни были временем спокойствия, уверенности и тишины? Естественное чувство правдоподобия не мирится с этим допущением: Лев Толстой не мог успокоиться ни на какой философской системе[1]).

А между тем он не раз говорил, что доктрина, названная его именем, принесла ему полное удовлетворение духа. Во имя этой доктрины он громил мирскую ересь с самоуверенностью человека, который твердо знает последнюю истину. Эту уверенность своего учителя толстовцы отмечают с полным правом. Их можно было бы, впрочем, спросить: в какую пору своей жизни Толстой не был уверен в себе, в своей правоте? В те времена, когда он верил еще не в христианство, не в непротивление, не в «пада бут добрум», а в comme il faut, в ногти и в штрипки, он во имя этих убеждений громил и отлучал людей совершенно так же, как позднее во имя толстовства. Самоуверенность — дар Божий, не зависящий от верований и доктрины. В людях, подобных Толстому или Шопенгауеру, она столь же естественна и прекрасна, как нелеп и смешон апломб дурака . . .

Среди героев художественных произведений Толстого есть одно лицо, жизнь которого поразительно точно выражает историю самого Льва Николаевича. Это русский Фауст, князь Андрей Болконский, один из самых совершенных образов мировой литературы. Разумеется, я говорю не о сходстве биографических фактов (хотя и оно наблюдается), а о сходстве душевных настроений. Князь Андрей умирает 33 лет от роду; его жизнь проходит перед нами лишь на протяжении семилетнего промежутка времени. Но за этот короткий срок он меняется несколько раз, переживает не одно мировоззрение. Недаром ему так доставалось от людей твердых взглядов; значительная часть критики отнеслась неблагосклонно к герою «Войны и Мира». Известный в свое время Навалихин, либеральный писа-

[1]) «Вас гордыня дьявольская обуяла, что вы знаете истину», сказал Толстой одному лицу, обязанному знать истину по своей профессии. «Мне вот 80 лет, и я до сих пор только ищу истину» . . . (Гусев. Два года с Л. Н. Толстым, стр. 62).

тель, точно родившийся от брака Степана Трофимовича Верховенского с Марией Васильевной Войницкой, почтенной матерью дяди Вани, называл Болконского тупым, скудоумным человеком с грязным взглядом на жизнь. Для Д. С. Мережковского князь Андрей — «очень благородный, но не очень умный неудачник». Он — «неудачник» и для другого критика Толстого, для генерала Драгомирова: «Жаль его», говорит о Болконском этот военный писатель, «человек честный, до известной степени; пожалуй, даже способный и с характером, но практически пустой..., ко всему способный, ни на что негодный...» Одним словом, князь Андрей никому не угодил: либералу Навалихину тем, что был военный и князь; Д. С. Мережковскому — тем, что не придерживался его философского учения; наконец, генералу Драгомирову не угодил тем, что не дослужился до генеральского чина. Старое правило Козьмы Пруткова: «если хочешь быть красивым, поступи в гусары», — еще не утратило обаяния в критике. Кем же, впрочем, и быть князю Андрею? Там, где Друбецкие и Берги удачники, Болконским, кроме роли неудачников, ничего не остается; и если бы случайность судьбы не бросила героя «Войны и Мира» под осколок французской гранаты, он, быть может, окончил бы свои дни еще гораздо «неудачнее»: 13-го июля 1826 г. на кронверке Петропавловской крепости.

Князь Андрей проходит последовательно те же стадии развития, которые пережил сам Л. Н. Толстой. В первых сценах романа он — светский дэнди, «с усталым, скучающим взглядом», насквозь проникнутый сознанием своего сословного и личного величия; он беспрестанно жмурится, морщится, произносит французские слова «le général Koutouzoff», ударяя на последнем слоге zoff, как французы, а по русски выражается сухо-неприятно: «па-азвольте, сударь». А вот как описывал Тургенев г-же Головачевой-Панаевой самого Льва Николаевича в ту пору, когда последнему было 27 лет, — ровно столько, сколько князю Андрею в начальных сценах «Войны и Мира»: «Ни одного слова, ни одного движения в нем нет естественного. Он вечно рисуется перед нами, и я затрудняюсь, как об'-

яснить в умном человеке эту глупую кичливость своим захудалым графством»[1]). «И Тургенев», прибавляет несколько дальше г-жа Панаева, «принялся критиковать каждую фразу Толстого, тон его голоса, выражение лица». Нет надобности прибавлять, что Тургенев так же ошибался насчет Льва Николаевича, как петербургский свет — насчет князя Андрея; но видимость у обоих была одна и та же... Далее, на войне юнкер Толстой мечтает о георгиевском кресте; ад'ютант командующего войсками Болконский — о высшем военном посте; по существу это одно и то же. Оба проходят через период совершенного отрицания жизни: князь Андрей в 1807 г., Толстой в 1862 г. «Единственно возможное счастье есть счастье животное», говорит князь Андрей (V, 90). «Я... бросил все и поехал в степь к башкирам — дышать воздухом, пить кумыс и жить животною жизнью» (XV, 12), рассказывает в «Исповеди» Толстой. Оба недолго увлекаются общественной деятельностью. Князь Андрей пишет со Сперанским «волюмы законов», как иронически выражается старый князь. Толстой служит мировым посредником и учит грамоте ребят. Оба понемногу занимаются филантропией: князь Андрей отпускает в вольные хлебопашцы мужиков небольшого имения, которое, по его словам, «ничего не приносило дохода» (V, 132). Толстой подписывает записку о необходимости освободить крестьян с землею под условием «полного, добросовестного денежного вознаграждения» помещиков[2]). Оба очень скоро разочаровываются в общественной деятельности и в филантропии. На обоих оказывает подавляющее влияние смерть близкого человека. Оба переживают неудачные романы: князь Андрей с Наташей Ростовой, Толстой с госпожей В. А.[3]). Затем они расходятся, чтобы снова встретиться в мировоззрении последних дней.

«Чем больше он (князь Андрей)... вдумывался в новое, открытое ему начало вечной любви, тем более он, сам не

---

1) Бирюков. Л. Н. Толстой, т. I, стр. 278—9.
2) Там-же, т. I, стр. 341.
3) Там-же, т. I, стр. 300—311.

чувствуя того, отрекался от земной жизни. Все, всех любить, всегда жертвовать собой для любви значило — никого не любить, значило — не жить этою земною жизнью» (VII, 50). В последние свои годы Толстой любил всех и все, вплоть до Азефа, вплоть до крыс. Жил ли он «этою земною жизнью?»

«В словах, в тоне его (князя Андрея), в особенности во взгляде этом — холодном, почти враждебном взгляде — чувствовалась страшная для живого человека отчужденность от всего мирского. Он, видимо, с трудом понимал все живое»... (VII, 47). А сам Толстой? Любя людей своей нездешней любовью, он вместе с тем был недалек от мысли, что все они умственно больные. Он и говорил с нами, как психиатр со своими пациентами: мягко, осторожно, стараясь приноровиться к нашим мыслям, избегая раздражений, отводя наши помыслы от тяжелых или острых предметов, которыми можно поранить себя и других. «Если Евгений Иртенев», замечает Толстой в заключительной фразе «Дьявола», «был душевно-больной тогда, когда он совершал свое преступление, то все люди также душевно-больные. Самые же душевно-больные это, несомненно, те, которые в других людях видят признаки сумасшествия, которых в себе не видят»...

Шопенгауер говорил, что быть одному здоровому среди тысячной толпы душевно-больных — то же самое, что иметь верные часы в городе, где все часы идут неверно. Участь в этом роде выпала на долю Л. Н. Толстого. Может быть, его часы верны, а наши — отстают на сто, на тысячу лет. Но у нас нет других часов, да мы и не могли бы жить по другим. Человек способен делать свое дело при тусклом свете грошовой свечи, но он еще не научился работать при ослепительном блеске молнии. А толстовское размягчение — та же молния, мгновенная, яркая, бесследная... Князь Андрей уверовал на Аустерлицком поле в «высокое, справедливое, доброе небо» и по сравнению с ним жалок ему показался маленький Наполеон с мелким тщеславием и радостью победы. Но когда прошло «ослабление сил от истекшей крови», когда исчезло «близкое

ожидание смерти», князь Андрей вернулся к обычной жизни человека. Вместо Наполеона место в его уме занял сначала Сперанский, который по сравнению с небом еще ничтожнее и меньше, а затем Наташа Ростова и ее случайный аттрибут — Анатоль Курагин. Это не могло быть иначе. Человеку надо жить, а для живого неверно то, что, быть может, справедливо для умирающего. — «Как же я не видал прежде этого высокого неба?» — спрашивал себя тяжело раненый князь Андрей. — «И как я счастлив, что узнал его наконец. Да! все пустое, все обман, кроме этого бесконечного неба. Ничего, ничего нет, кроме него». Умирающий князь Андрей прав, живой — он в заблужденьи: не все пустое, не все обман. А если даже и так, то нельзя живому человеку забираться на те высоты, откуда Наполеон кажется меньше малой букашки.

«Хорошо бы это было», думал князь Андрей, «ежели бы все было так ясно и просто, как оно кажется княжне Марье. Как хорошо бы было знать, где искать помощи в этой жизни и чего ждать после нее, там, за гробом! Как бы счастлив и спокоен я был, ежели бы мог сказать теперь: Господи, помилуй меня!.. Но кому я скажу это! Или сила — неопределенная, непостижимая, к которой я не только не могу обращаться, но которой не могу выразить словами, — великое все или ничего», говорил он сам себе, «или это тот Бог, который вот здесь зашит, в этой ладанке, княжной Марьей? Ничего, ничего нет верного, кроме ничтожества всего того, что мне понятно, и величия чего-то непонятного, но важнейшего!»

«Хорошо бы это было»... думает князь Андрей. Да, и в самом деле хорошо бы. Но вполне ли разрешены Толстым сомнения героя «Войны и Мира»? — «Где искать помощи в этой жизни?» — спрашивал Болконский. — «Я разлюбил Евангелье», — за 4 месяца до смерти сказал Лев Николаевич [1]). — «Чего ждать после нее, там, за гро-

[1]) В. Ф. Булгаков. У Л. Н. Толстого, Москва, 1911 г., стр. 230.
Эта фраза, мне кажется, станет для исследователей Толстого таким же камнем преткновения, как «cela vous abêtira» для людей, называемых во Франции «les pascalisants».

бом?» — спрашивает еще князь Андрей... — «Возвращения к Любви», — отвечает Толстой. Одна из самых страшных фантазий Гойа изображает судорожно искривленную руку, протянутую из-под камня пустынной могилы, отчаянно цепляющуюся за что-то, за пустоту. Подпись гласит одно слово «nada» — ничто: утомленный жизнью человек ничего не нашел и там, в глубине своей мрачной ямы. Подпись, сделанная Толстым, — «возвращение к Любви» (хотя бы и с большой буквой в начале этого слова), много ли она лучше, чем nada?

Человеческое мышление придавлено тем пределом, который ограничивает и самую жизнь. Одно из философских настроений должно же быть последним. Но есть ли настоящее последнее для того, чья гордость и мечта — «сжечь все, чему поклонялся, поклониться всему, что сжигал»? Когда прошлое человека представляет собой длинный ряд созерцаний, сменяющих одно другое в беспрестанном усилии духа, естественно возникает мысль, что такому усилию нет и не будет конца. Конец есть новое начало. Если верить биологам, отдельный индивидуум повторяет своим ростом историю целого вида. Может быть, Геккелевский закон осуществляется и в сфере нематериальной: может быть, нам следует искать в истории жизни Толстого скрытый, темный намек на тот путь, который суждено пройти человечеству? Может быть, «через двести-триста лет» наступит черед «толстовства». А дальше? Дальше не загадывал и Вершинин... Онтогенезис оборвался; пришла смерть и прервала повесть, под которой смутно виднеется надпись: продолжение следует.

А повесть достаточно таинственна и сама по себе: в недоумении останавливаемся мы перед неразрешимой проблемой Толстого. Эллин, перешедший в иудейство или иудей, проживший долгий век эллином, влюбленный в жизнь мизантроп, рационалист, отдавший столько труда критике нечистого разума, гений, рожденный, чтобы быть злым, и ставший нечеловечески добрым, — Лев Толстой стоит перед нами вечной загадкой. Кто он был на самом деле, этот человек, проживший всю жизнь в стеклянном

доме, столь близкий и дорогой каждому из современных людей? Когда свет вечного толстовского солнца падает на бедную призму анализа, он разлагается на тысячу оттенков радуги. Мы изучаем отдельные яркие полосы. Но кто знает все переливы волшебного спектра? Кто постиг тайну единства первоисточника? Кто может сказать, что понял Льва Толстого?

ОГЛАВЛЕНИЕ

Стр.

От автора 3

Глава I 7
» II 20
» III 29
» IV 39
» V 56
» VI 68
» VII 75
» VIII 89
» IX 99
» X 107
» XI 119